



Марк Твен

Путешествие капитана Стормфилда в рай

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159334

Марк Твен «Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. Рассказы»: Художественная литература; Москва; 1971

Аннотация

Прототипом для Стормфилда послужил капитан Эдгар Уэйкмен, старый моряк, с которым Твен познакомился в 1866 году, а затем снова встретился спустя два года и от которого услышал рассказ о том, как ему довелось побывать в раю. Под разными именами Уэйкмен фигурирует в нескольких произведениях Твена.

Содержание

ОТ АВТОРА	4
ГЛАВА I	6
ГЛАВА II	13
ГЛАВА III	20
ГЛАВА IV	50

Марк Твен

Путешествие капитана Стормфилда в рай

ОТ АВТОРА

С капитаном Стормфилдом я был хорошо знаком. Я совершил на его корабле три длинных морских перехода. Это был закаленный, выдавший виды моряк, человек без школьного образования, с золотым сердцем, железной волей, незаурядным мужеством, несокрушимыми убеждениями и взглядами и, судя по всему, безграничной уверенностью в себе. Прямой, откровенный, общительный, привязчивый, он был честен и прост, как собака. Это был очень религиозный человек – от природы и в силу материнского воспитания; и это был изощренный и удручающий сквернослов в силу отцовского воспитания и требований профессии. Родился он на корабле своего отца ¹, всю жизнь провел в море, знал берега всех стран, но ни одной страны не знал дальше берега. Когда я впервые встретился с ним, ему было шестьдесят пять

¹ По другим сведениям, капитан родился в Коннектикуте, а в море ушел четырнадцати лет.

лет и в его черных волосах и бороде сквозили седые нити; но годы еще не наложили своего отпечатка ни на тело, ни на твердый характер, и огонь, горевший в его глазах, был огнем молодости. Он был чарующе обходителен, когда ему угождали, в противном же случае с ним нелегко было иметь дело.

Воображение у него было богатое, и, вероятно, это влияло на то, как он излагал факты; но если и так, сам он этого не сознавал. Он верил, что каждое его слово – правда. Когда он рассказывал мне про свои диковинные и жуткие приключения на Чертовом Пути – обширном пространстве в южной части Тихого океана, где стрелка компаса отказывается выполнять свое дело, а только крутится и крутится как сумасшедшая, – я его пожалел и скрыл свои предположения, что все это ему приснилось, потому что понял: он-то говорит всерьез; но про себя я подумал, что это было видение или сон. В глубине души я уверен, что его путешествие в Иной Мир тоже было сном, но я и тут смолчал, чтобы не обидеть его. Он был убежден, что в самом деле совершил это путешествие; я слушал его внимательно, с его разрешения записал стенографически события каждого дня, а потом привел свои записи в порядок. Я слегка подправил его грамматику и кое-где смягчил слишком крепкие выражения; в остальном передаю его рассказ так, как слышал от него.

МАРК ТВЕН

ГЛАВА I

Я умирал, это мне было понятно. Я ловил ртом воздух, потом на долгое время затихал, а они стояли возле моей койки, молчаливые и неподвижные, дожидаясь моей кончины. Изредка они переговаривались между собой, но их слова звучали глуше и глуше, дальше и дальше. Впрочем, мне все было слышно.

Старший помощник сказал:

– Как начнется отлив, он испустит дух.

– Откуда вы это узнаете? – спросил Чипс, судовой плотник. – Здесь, посреди океана, отлива не бывает.

– Как это нет, бывает! Да все равно, так уж положено. Снова тишина – только плескали волны, скрипел корабль, раскачивались из стороны в сторону тусклые фонари, да тоненько посвистывал в отдалении ветер. Потом я услышал откуда-то голос:

– Уже восемь склянок, сэр.

– Так держать, – сказал помощник.

– Есть, сэр.

Еще чей-то голос:

– Ветер свежеет, сэр, идет шторм.

– Приготовиться, – скомандовал помощник, – Взять рифы на топселе и бом-брамселе!

– Есть, сэр.

Через некоторое время помощник спросил:

– Ну, как он?

– Отходит, – ответил доктор. – Пускай полежит еще минут десять.

– Все приготовили, Чипс?

– Все, сэр, и парусину и ядро. Все готово.

– А Библия, отпевание?

– Не задержим, сэр.

Снова стало тихо, даже ветер свистел теперь еле-еле, будто во сне. Потом послышался голос доктора:

– Как вы думаете, он знает, что его ждет?

– Что попадет в ад? По-моему, да, знает.

– Сомнений, значит, быть не может? – Это был голос Чипса, и прозвучал он печально.

– Какое еще сомнение? – сказал помощник. – Да, он и сам на этот счет не сомневался, чего же вам еще?

– Да, – согласился Чипс, – он всегда говорил, что там его, наверное, ждут.

Долгая, томительная тишина. Потом голос доктора, глухой и далекий, словно со дна глубокого колодца:

– Все. Отошел. Ровно в двенадцать часов четырнадцать минут.

И сразу тьма. Непроглядная тьма! Я понял, что я умер.

Я почувствовал, что куда-то нырнул, и догадался, что птицей взлетаю в воздух. На миг промелькнул подо мною океан и корабль, потом стало черно, ничего не видно, и я, разрезая

со свистом воздух, понесся вверх. «Я весь тут, – мелькнуло у меня в мозгу, – платье на мне, все остальное тоже, вроде как ничего не забыл. Они похоронят в океане мое чучело, вместо меня. Я-то весь тут!»

Вдруг я увидел какой-то свет и в следующее мгновение влетел в море спящего огня, и меня понесло сквозь пламя. На моих часах было 12.22.

Знаете, что это было? Солнце. Я так и догадался, а позже моя догадка подтвердилась. Я был там через восемь минут после того, как снялся с якоря. Это помогло мне определить скорость хода: сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду. Почти девяносто миллионов миль за восемь минут! Ну и возгордился же я – таких гордых призраков еще свет не видел. Я радовался, как ребенок, и жалел, что не с кем здесь устроить гонки.

Не успел я это подумать, как солнце уже осталось далеко позади. Оно имеет меньше миллиона миль в диаметре, и я пролетел мимо него, не успев даже согреться. И снова попал в крошечную тьму. Да, во тьму, но сам-то я не был темным. Мое тело светилось мягким призрачным светом, и я подумал, что похож, вероятно, на светляка. Откуда исходит свет, я не мог понять, но время на часах было видно, а это самое главное.

Вдруг я заметил неподалеку свет, похожий на мой. Я обрадовался, приложил руки трубкой ко рту и окликнул:
– Эй, на корабле!

– Есть, привет вам, друг!

– Откуда?

– С Чатам-стрит.

– Куда направляетесь?

– А вы думаете, я знаю?

– Небось туда же, куда и я. Имя?

– Соломон Голдстейн. А ваше?

– Капитан Эли Стормфилд, бывший житель Фэрхейвена и Фриско. Пристраивайтесь, дружище!

Он принял мое приглашение. В компании сразу стало веселее. Я от природы общителен, терпеть не могу одиночества. Но мне с детства внушили предубеждение против евреев – знаете, как внушают всем христианам. – хотя души моей оно не затронуло, дальше головы не пошло. Но даже если бы и пошло, в тот момент оно бы исчезло, – до того я томился одиночеством и мечтал о каком-нибудь попутчике. Господи, когда летишь в... ну, словом, туда, куда я летел, снеси в тебе поубавляется и бываешь рад любому, невзирая на качество.

Мы помчались рядышком, беседуя, как старые знакомые, и это было очень приятно. Я решил, что сделаю доброе дело, если успокою Соломона и устраню все его сомнения. Когда в чем-нибудь не уверен, это всегда портит настроение, я по себе знаю. Итак, поразмыслив, я сказал ему, что, поскольку он летит со мной рядом, это доказывает, куда он летит. Вначале он был ужасно огорчен, но потом смирился, сказал, что так, пожалуй, даже лучше: ведь ангелы, конечно, не примут его

в свою компанию, еще прогонят, если он попробует к ним втереться; так было в Нью-Йорке, а высшее общество, наверно, везде одинаково. Он просил меня не покидать его, когда мы прибудем в порт назначения, ему нужна моя поддержка – ведь там у него не будет никого из своих. Бедняга так меня тронул, что я пообещал остаться с ним на веки вечные.

Потом мы долго молчали; я не тревожил его, чтобы дать ему привыкнуть к новой мысли. Ему это будет полезно. Время от времени я слышал его вздохи, а потом заметил, что он плачет. Тут, признаюсь, я рассердился на него и подумал: «Типичный еврей! Пообещал какой-нибудь деревенщине сшить пиджак за четыре доллара, а теперь пожалел, мол, если бы вернулся, постарался бы всучить ему что-нибудь похуже качеством за пять. Бездушный народ, и никаких моральных принципов!» А он все плакал и всхлипывал, а я от этого еще пуще злился на него и все меньше его жалел. Под конец я уже не сдержался и сказал:

– Ну хватит! Черт с ним, с пиджаком! Выбросьте это из головы!

– Пиджа-ак?

– Ну да. Уж горевали бы о чем-нибудь важном!

– Кто вам сказал, что я горюю о пиджаке?

– О чем же еще?

– Ах, капитан, я схоронил свою маленькую дочку и теперь никогда, никогда ее не увижу! Я не переживу этого горя!

Ей-богу, он меня как ножом полоснул. Дай мне целую эс-

кадру, я не соглашусь еще раз пережить такой стыд за свои гадкие мысли. И я в этом признался ему, покаялся перед ним и так себя ругал, так ругательски ругал, что даже его расстроил и уж перестал говорить – половины того, что хотел, не высказал. А он принялся умолять меня, чтобы я не говорил про себя таких страшных вещей и не раздувал истории, ничего, мол, я ошибся, а ошибка не преступление!

Правда, это было великодушно с его стороны? Что, нет? По-моему, да. Я считаю, что из него мог бы получиться отменный христианин, и я ему прямо это сказал. И если бы было не поздно, я бы жизни не пожалел, чтобы убедить его креститься.

Мы снова заговорили как друзья, и он уже больше не таил своей печали, а изливался мне открыто, а я слушал и слушал с открытой душой, пока она не переполнилась. Господи, какое это было горе! Он обожал свою дочку, лелеял, берег как зеницу ока. Ей было десять лет, она умерла шесть месяцев тому назад, и он был рад собственной смерти, так как надеялся на том свете снова заключить ее в объятия и больше никогда с ней не расставаться. И вот погибла его мечта. Он потерял свою дочку – *навсегда*. Теперь это слово приобрело новый смысл. Я был ошеломлен, подавлен. Всю жизнь мы верим, надеемся, что встретимся снова со своими умершими близкими, ни на минуту в том не сомневаемся. И это дает нам силы жить. И вот рядом со мной отец, потерявший эту надежду. Как же я не подумал? Почему не промолчал? Он

бы сам потом догадался! Слезы все еще струились по его щекам, из груди рвались стоны, губы вздрагивали, и он шептал:

– Бедная крошка Минни, и я бедный, несчастный!

А я повторял про себя его слова: «Бедная крошка Минни, и я бедный, несчастный!»

Я этого не забыл, это застряло как заноза у меня в сердце. Не раз потом, вспоминая трагедию бедного еврея, я говорил себе: «Эх, вот если бы я держал путь в рай, тогда я бы поменялся с ним местами, и он свиделся бы со своей дочкой, пусть меня бог накажет, если я вру!» Вот попадете сами в такое положение, тогда поймете мое чувство!

ГЛАВА II

Мы болтали еще долго и, сильно уставшие, заснули часа в два ночи; спали крепким сном и проснулись, бодрые, освежившиеся, около полудня. Есть нам не хотелось, но покурил бы я с великим удовольствием, будь у меня табак и трубка. II выпить тоже не отказался бы.

Необходимо было привести в порядок мысли. Проснувшись, мы сперва не могли сообразить, что с нами произошло, нам казалось, что мы все видели во сне. Да и потом не сразу избавились от ощущения, что это был сон. А когда все же избавились, то, вспомнив, куда летим, мы содрогнулись от ужаса. Потом ужас сменился изумлением. И радостью. Радостью – потому что мы еще не прибыли. Во мне шевельнулась надежда: авось не скоро долетим!

– Сколько мы уже прошли, а, капитан Стормфилд?

– Миллиард сто миллионов миль, а может, даже миллиард двести.

– Ах, майн готт, какая быстрота!

– Еще бы! Быстрее нас – только мысль. Даже курьерскому поезду потребовалось бы дней двадцать пять, самое малое – двадцать четыре, чтобы объехать земной шар. А мы за одну секунду можем облететь его четыре раза. Эх, жаль, Соломон, что не с кем устроить нам гонки!

Во второй половине дня мы заметили слабый свет с ост-

норд-ост-тэн-оста примерно на два румба от ветра. Мы его окликнули, и он пристроился к нам. Это оказался покойник по фамилии Бейли, из Ошкоша, покинувший землю накануне в семь часов десять минут вечера. Малый не плохой, но, как видно, любитель погрузить и помечтать. По политическим убеждениям – республиканец, вбивший себе в голову, что никакая сила, кроме его партии, не способна спасти цивилизацию. Он был в меланхолическом настроении, но мы его расшевелили, втянули в беседу, и он, немножко повеселев, кое-что рассказал о себе. Менаду прочим, и то, что покончил жизнь самоубийством. Мы это и раньше заподозрили – по дырке у него на лбу: свайкой так не проткнешь.

Потом он опять предался грусти и поведал нам причину. Он был щепетильно честен, а перед смертью сделал некий политический ход, и теперь все сомневался, было ли это вполне этично. У них в городке, где он жил, предстояли выборы на замещение какой-то должности в муниципалитете, и успех зависел от перевеса в один голос, А Бейли знал, что не сможет присутствовать на выборах, так как в это время будет уже здесь, где мы. И он подумал, что, если кто-нибудь из членов демократической партии тоже устранился от выборов, тогда успех республиканскому кандидату все равно обеспечен. И вот, уже решившись на самоубийство, он отправился к одному своему другу – демократу, человеку строжайших нравственных правил, и убедил его составить ему пару. Этим он спас республиканский список и лишь тогда застрелился.

Но теперь его немножко тревожил этот поступок: он не был уверен, что, как пресвитерианин, поступил правильно.

Соломон – тот сразу проникся к нему симпатией: по его мнению, выдумка Бейли была замечательной, и он, что называется, ел его глазами, завидовал его уму и, ухмыляясь такой хитрой, чисто еврейской ухмылкой, хлопал себя по ляжке и восклицал:

– Ох, Бейли, ты меня прямо-таки подбиваешь креститься! А застрелился-то Бейли из-за одной девушки – Кандес Миллер. Он никак не мог добиться от нее ответа, любит ли она его, хотя казалось, что любит, и он питал надежду жениться на ней. Судьбу его решила записка, в которой Кандес призналась ему, что любит его как друга и хотела бы навсегда сохранить с ним добрые отношения, но сердце ее принадлежит другому. Рассказывая нам это, бедняга Бейли не выдержал и заплакал. И ведь вот как иногда бывает! Внезапно мы заметили позади голубоватый свет, мы его окликнули, и, когда он приблизился к нам, Бейли вскричал:

– Господи, Том Уилсон! Вот так сюрприз! А ты каким образом очутился здесь, приятель?

Уилсон так умоляюще поглядел на него, что у меня сердце защемило. Он сказал:

– Не радуйся мне, Джордж. Я этого не стою! Я подлый негодяй, мне не место среди добрых людей.

– Полно вздор молоть! С чего это ты так? – удивился Бейли.

– Джордж, я поступил как предатель! Ты был мой самый лучший друг, мы с тобой дружили с детства, а я причинил тебе такое страшное зло! Но мне и в голову не приходило, что моя дурацкая шутка может иметь такие роковые последствия! Это я написал тебе письмо, будто от ее имени. Она ведь любила тебя, Джордж!

– Не может быть!

– Да, любила! Она первая вбежала к тебе в дом, увидела тебя мертвого, в луже крови, и рядом – письмо, подписанное ее именем, и поняла все. Она упала на твое бездыханное тело, осыпала поцелуями твое лицо, глаза, клялась тебе в любви, рыдала и сокрушалась. И выходит, что это я тебя убил, и я же разбил ее сердце. Я не мог этого пережить, и – как видишь – я здесь!

Ну-ну, еще один самоубийца! Бейли понимал, что назад дороги нет. На него было жалко смотреть. Он сгоряча решил убить себя, поддавшись отчаянию и даже не проверив, правда ли, что письмо написала та девушка. Он все повторял, что не может простить себе такую поспешность, и почему он не подождал, почему был глух к голосу разума, и все прикидывал, как ему следовало поступить, и как он поступил бы теперь, если бы можно было вернуться. Но что толку! Как ни жалко нам было его, мы знали, что возврата нет. Ужасная история! Люди думают, что смерть приносит покой. Ничего, умрут – тогда узнают!

Соломон оттянул Бейли в сторонку, чтобы успокоить его.

Это он правильно сделал: те, у кого свое горе, умеют утешить других.

Примерно через неделю мы нагнали еще одного путешественника. На сей раз это оказался негр. Ему было лет тридцать восемь – сорок, почти половину своей жизни он провел в рабстве. Звали его Сэм. Симпатичный малый, добродушный и жизнерадостный. Уже позднее я понял, что каждый вновь прибывший сперва производит на остальных гнетущее впечатление: он только и думает, что о своих родных, о том, как они его оплакивают, и ни о чем другом он не способен говорить, и требует от всех внимания и сочувствия, и со слезами рассказывает, что за славная, добрая у него жена или бедная старушка мать, сестренка или братья, и, конечно, все это надо выслушивать с подобающей кротостью, и настроение у всех портится на несколько дней: каждый начинает вспоминать свое горе – свою семью и своих близких. Но самое тяжкое, когда новичок – молодой человек, у которого осталась на земле возлюбленная. Тут уж нет конца слезам, и сетованиям, и разговорам. И – в который раз – этот осточертевший вопрос: «Как вы думаете, она скоро откажется жить, скоро придет сюда?» Что можно ответить? Только одно: «Будем надеяться». Но когда ты повторил это несколько тысяч раз, то уже терпение лопается и думаешь: лучше бы мне не умирать! А покойник – он что, он тот же человек и, естественно, приносит с собой свои привычки. Ведь вот, приезжая в какой-нибудь город, в любой город на свете,

слышим же мы вечно одни и те же вопросы: «Вы у нас впервые?», «Как вам здесь нравится?», «Когда вы приехали?», «Сколько намерены здесь пробыть?».

Иной раз удираешь на следующий же день, лишь бы скрыться от этих вопросов. Но со скорбящими влюбленными мы придумали лучше: мы соединили их в одну группу, предоставив им утешать друг друга. Им это не повредило, напротив – даже понравилось: сочувствия и соболезнований хоть отбавляй, а больше им ничего и не нужно.

У Сэма оказались в кармане трубка, табак и спички. Не могу передать, как я обрадовался. Но радость моя быстро померкла – спички не загорались. Бейли объяснил нам причину: мы летим в безвоздушном пространстве, а для огня необходим кислород. Все-таки я посоветовал Сэму не бросать курительные принадлежности – авось мы еще влетим в атмосферу какого-нибудь светила или планеты и, если позволят ее размеры, быть может, успеем прикурить и сделать одну-две затяжки. Но Бейли сказал, что это маловероятно.

– Наши тела и одежда утратили свои земные свойства, – пояснил он, – иначе мы мигом сгорели бы, когда прорывались сквозь слои атмосферы, окружающей Землю. И табак тоже утратил свои земные свойства: он теперь несгораемый.

Вот какая штука! Все же я предложил сохранить табачок – уж в аду-то он загорится!

Когда негр услышал, куда я лечу, он очень расстроился, не хотел верить и принялся спорить со мной и доказывать, что

я ошибаюсь, но я нисколько не сомневался и сумел его убедить. Он жалел меня, как самый близкий друг, и все утешал, что, возможно, там не так уж жарко, как говорят, и успокаивал, что я привыкну, а привычка ведь все облегчает. Его добрые слова расположили меня к нему, а когда он предложил мне на память свой табак и трубку, я совсем растаял. Славный человек – ну как все негры. Чтобы у негра было злое сердце, этого я почти никогда не встречал.

Мелькали недели; время от времени к нам присоединялись новые спутники, и к концу первого года нас уже было тридцать шесть человек. Мы были похожи на рой светляков – прелестное зрелище! Нас мог бы набраться целый полк, если бы все мы летели вместе, но, к сожалению, не у всех была одинаковая скорость. Правда, эскадра обычно равняется по тихоходам, и я еще подтянул их немного, установив норму двести тысяч миль, в секунду, но все же те, кто спешил поскорее встретиться с друзьями, умчались вперед, и мы не стали их удерживать. Лично я не торопился. Мои дела подождут! Позади остались чахоточные и прочие больные – они ползли, как черепахи, и мы потеряли их из виду. Нахалов и скандалистов, которые поднимают шум из-за всякой чепухи, я прогнал с дороги, отчитав как следует и предупредив, чтобы держались подальше. С нами оставался разный народ – и помоложе и постарше, в общем ничего, не плохие люди, хотя надо признать, что кое-кто из них не вполне соответствовал требованиям.

ГЛАВА III

Так вот, когда я пробыл покойником лет тридцать, меня начала разбирать тревога. Ведь все это время я несся в пространстве вроде кометы. Я сказал «вроде»! Но поверьте, Питере, я все кометы оставил позади! Правда, ни одна из них не следовала в точности по моему курсу – кометы движутся по вытянутому кругу, наподобие лассо; я же мчался в загробный мир прямо, как стрела; но изредка я замечал такую комету, которая час-другой шла моим курсом, и тогда у нас затевались гонки. Только гонки эти бывали обычно односторонние: я проносился мимо кометы, а она как будто стояла на месте. Обыкновенные кометы делают не более двухсот тысяч миль в минуту. Так что когда мне попадалась одна из них, ну, например, комета Энке или Галлея, я едва успевал крикнуть: «Здравствуй!» и «Прощай!» Разве же это гонки? Такую комету можно сравнить с товарным поездом, а меня – с телеграммой. Впрочем, выбравшись за пределы нашей астрономической системы, я начал наткаться и на кометы иного рода, в некоторой мере мне под стать. У нас таких нет и в помине. Однажды ночью я шел ровным ходом, под всеми парусами, попутным ветром, считая, что делаю не менее миллиона миль в минуту, если не больше, и вдруг заметил удивительно крупную комету на три румба к носу от моего правого борта. По ее кормовым огням я определил ее на-

правление – норд-ост-тэн-ост. Она летела так близко от моего курса, что я не мог упустить этот случай, и вот я отклонился на румб, закрепил штурвал и бросился догонять ее. Вы бы слышали, с каким свистом я разрезал пространство, поглядели бы, какую я поднял электрическую бурю! Через полторы минуты я был весь охвачен электрическим сиянием, до того ярким, что на много миль вокруг сделалось светло, как днем. Издали комета светилась синеватым огоньком, точно потухающий факел, но чем ближе я подлетал, тем яснее было видно, какая она огромная. Я нагонял ее так быстро, что через сто пятьдесят миллионов миль уже попал в ее фосфоресцирующий кильватер и чуть не ослеп от страшного блеска. Ну, думаю, этак в нее и врезаться недолго, и, подавшись в сторону, стал набирать скорость. Мало-помалу я приблизился к ее хвосту. Знаете, что это напоминало? Точно комар приблизился к континенту Америки! Я все не сбавлял ходу. Постепенно я прошел вдоль корпуса кометы более ста пятидесяти миллионов миль, но убедился по ее очертаниям, что не достиг даже талии. Эх, Питере, разве на земле мы знаем толк в кометах?! Если хочешь увидеть комету, достойную внимания, надо выбраться за пределы нашей солнечной системы, туда, где они могут развернуться.

Я, друг мой, повидал там такие экземпляры, которые не могли бы влезть даже в орбиту наших самых известных комет – хвосты у них обязательно свисали бы наружу!

Ну, я пронесся еще сто пятьдесят миллионов миль и на-

конец поравнялся с плечом кометы, если позволительно так выразиться. Я был собою весьма доволен, право слово, пока вдруг не заметил, что к борту кометы подходит вахтенный офицер и наставляет подзорную трубу в мою сторону. И сразу же раздается его команда:

– Эй, там, внизу! Наддать жару, наддать жару! Подбросить еще сто миллионов миллиардов тонн серы!

– Есть, сэр!

– Свисти вахту со штирборта! Всех наверх!

– Есть, сэр!

– Послать двести тысяч миллионов человек поднять бомбрамсели и трюмсели!

– Есть, сэр!

– Поднять лисели! Поднять все до последней тряпки! Затянуть парусами от носа до кормы!

– Есть, сэр!

Я сразу понял, Питерс, что с такой соперником шутки плохи. Не прошло и десяти секунд, как комета превратилась в сплошную тучу огненно-красной парусины; она уходила в невидимую высь, она точно раздулась и заполнила все пространство; серый дым валом повалил из топок – нельзя описать, что это было, а уж про запах и говорить нечего. И как понеслась эта махина! И что за шум на ней поднялся! Свистали тысячи боцманских дудок, и команда, которой хватило бы, чтобы населить сто тысяч таких миров, как наш, ругалась хором. Ничего похожего я в своей жизни не слышал.

С ревом и грохотом мы мчались рядом изо всех сил, — ведь в моей практике еще не бывало, чтобы какая-нибудь комета обогнала меня, и я решил: хоть лопну, а добьюсь победы. Я знал, что заслужил определенную репутацию в мировом пространстве, и не собирался ее терять. Я заметил, что обхожу ко мету медленнее, чем вначале, но все же обхожу. На комете царило страшное волнение. Более ста миллиардов пассажиров высыпало на палубу, все они сгрудились у левого борта и стали держать пари, кто победит в наших гонках. Естественно, это вызвало крен кометы и уменьшило ее скорость. Ух, как рассвирепел помощник капитана! Он бросился в толпу со своим рупором в руках и заорал:

– Отойти от борта! От борта, вы!... ² Не то всем вам, идиотам, черепа раскрою!

Ну, а я потихоньку обгонял и обгонял, пока не подпорхнул к самому носу этого огненного чудища. Теперь уже и капитана вытащили из постели, и он стоял на передней палубе, освещенный багровым заревом, рядом со своим помощником, без сюртука, в ночных туфлях, волосы торчат во все стороны, как воронье гнездо, подтяжки с одного боку свисают. Вид у него и у помощника был порядком расстроенный. Пролетая мимо них, я просто не в силах был удержаться, показал им нос и крикнул:

– Счастливо оставаться! Прикажете передать привет ва-

² Капитан Стормфилд не мог вспомнить это слово. По его мнению оно было на каком-то иностранном языке.

шим родственникам?

Это была ошибка, Питере! Я не раз потом пожалел о своих словах. Да, это была ошибка! Понимаете, капитан уже готов был сдаться, но такой насмешки он стерпеть не мог. Он повернулся к помощнику и спрашивает:

– Хватит у нас серы на весь рейс?

– Да, сэр.

– Это точно?

– Да, сэр. Хватит с избытком.

– Сколько у нас тут груза для Сатаны?

– Миллион восемьсот тысяч миллиардов казарков.

– Прекрасно, тогда пусть его квартиранты померзнут до прибытия следующей кометы. Облегчить судно! Живо, живо, ребята! Весь груз за борт! Питере, посмотрите мне в глаза и не пугайтесь. На небесах я выяснил, что каждый казарк – это сто шестьдесят девять таких миров, как наш. Вот какой груз они вывалили за борт. При падении он смел начисто кучу звезд, точно это были свечи и их задули. Что касается гонок, то на этом все кончилось. Освободившись от балласта, комета пронеслась мимо меня так, словно я стоял на якоре. С кормы капитан показал мне нос и прокричал:

– Счастливо оставаться! Теперь, может быть, *вы* пожелаете передать привет вашим близким в Вечных Тропиках?

Потом он натянул на плечо болтавшийся конец подтяжек и пошел прочь, а через каких-нибудь три четверти часа комета уже опять лишь мелькала вдали слабым огоньком. Да,

Питере, я совершил ошибку – дернуло же меня такое сказать! Я, наверно, никогда не перестану жалеть об этом. Я выиграл бы гонки у небесного нахала, если бы только придержал язык.

Но я несколько отвлекся; возвращаюсь к своему рассказу. Теперь вы можете себе представить мою скорость. И вот после тридцати лет такого путешествия, повторяю, я забеспокоился. Не скажу, что я не получал удовольствия, – нет, я повидал много нового, интересного; а все-таки одному как-то, понимаете, скучно. И хотелось уж где-нибудь ошвартоваться. Ведь не затем же я пустился в путь, чтобы вечно странствовать! Вначале я был даже рад, что дело затягивается. – я ведь полагал, что меня ждет довольно жаркое местечко, но в конце концов мне стало казаться, что лучше пойти ко всем... словом, куда угодно., чем томиться неизвестностью.

И вот, как-то ночью... Там постоянно была ночь, разве что когда я летел мимо какой-нибудь звезды, которая ослепительно сияла на всю вселенную, – уж тут-то, конечно, бывало светло, но через минуту или две я поневоле оставлял ее позади и снова погружался во мрак на целую неделю. Звезды находятся вовсе не так близко друг от друга, как нам это кажется... О чем бишь я?... Ах да... Лечу я однажды ночью и вдруг вижу впереди на горизонте длиннейшую цепь мигающих огней. Чем ближе, тем они разрастались больше и вскоре стали похожи на гигантские печи.

– Прибыл наконец, ей-богу! – говорю я себе. – И, как следовало ожидать, отнюдь не в рай!

И лишился чувств. Не знаю, сколько времени длился мой обморок, – наверно, долго, потому что, когда я очнулся, тьма рассеялась, светило солнышко и воздух был теплый и ароматный до невозможности. А местность передо мной расстилалась прямо-таки удивительной красоты. То, что я принял за печи, оказалось воротами из сверкающих драгоценных камней высотой во много миль; они были вделаны в ступу из чистого золота, которой не было ни конца ни края, ни в правую, ни в левую сторону. К одним из ворот я и понесся как угорелый. Тут только я заметил, что в небе черно от миллионов людей, стремившихся туда же. С каким гулом они мчались по воздуху! И вся небесная твердь кишела людьми, точно муравьями; я думаю, их там было несколько миллиардов.

Я опустился, и толпа повлекла меня к воротам. Когда подошла моя очередь, главный клерк обратился ко мне весьма деловым тоном:

– Ну, быстро! Вы откуда?

– Из Сан-Франциско.

– Сан-Фран...? Как, как?

– Сан-Франциско.

Он с недоуменным видом почесал в затылке, потом говорит:

– Это что, планета?

Надо же такое придумать, Питерс, ей-богу!

– Планета? – говорю я. – Нет, это город. Более того, это величайший, прекраснейший...

– Хватит! – прерывает он. – Здесь не место для разговоров. Городами мы не занимаемся. Откуда вы вообще?

– Ах, прошу прощения, – говорю я. – Запишите: из Калифорнии.

Опять я, Питерс, поставил этого клерка в тупик. На его лице мелькнуло удивление, а потом он резко, с раздражением сказал:

– Я таких планет не знаю. Это что, созвездие?

– О господи! – говорю я. – Какое же это созвездие? Это штат!

– Штатами мы не занимаемся. Скажете ли вы наконец, откуда вы вообще, вообще, в целом? Все еще не понимаете?

– Ага, теперь сообразил, чего вы хотите. Я из Америки, из Соединенных Штатов Америки.

Верьте не верьте, но и это не помогло. Разрази меня гром, если я вру! Его физиономия ни капельки не изменилась, все равно как мишень после стрелковых соревнований милиции

³. Он повернулся к своему помощнику и спрашивает:

– Америка? Это где? Это что такое?

И тот ему поспешно отвечает:

– Такого светила нет.

³ *Милиция* – ополчение в США. В мирное время – граждане, призываемые только для коротких военных сборов.

– Светила? – говорю я. – Да о чем вы, молодой человек, толкуете? Америка не светило. Это страна, это континент. Ее открыл Колумб. О нем-то вы слышали, надо полагать? Америка, сэр, Америка...

– Молчать! – прикрикнул главный. – Последний раз спрашиваю: откуда вы прибыли?

– Право, не знаю, как еще вам объяснить, – говорю я. – Остается свалить все в одну кучу и сказать, что я из мира.

– Ага, – обрадовался он, – вот это ближе к делу. Из какого же именно мира?

Вот теперь, Питерс, уже не я его, а он меня поставил в тупик. Я смотрю на него, разинув рот. И он смотрит на меня, хмурится; потом как вспылит:

– Ну, из какого?

А я говорю:

– Как из какого? Из того, единственного, разумеется.

– Единственного?! Да их миллиарды!... Следующий!

Это означало, что мне нужно посторониться. Я так и сделал, и какой-то голубой человек с семью головами и одной ногой прыгнул на мое место. А я пошел прогуляться. И только тогда я сообразил, что все мириады существ, толпящихся у ворот, имеют точно такой же вид, как тот голубой человек. Я принялся искать в толпе какое-нибудь знакомое лицо, но ни единого знакомого не нашлось. Я обмозговал свое положение и в конце концов бочком пролез обратно, как говорится, тише воды, ниже травы.

– Ну? – спрашивает меня главный клерк.

– Видите ли, сэр, – говорю я довольно робко, – я никак не соображу, из какого именно я мира. Может быть, вы сами догадаетесь, если я скажу, что это тот мир, который был спасен Христом.

При этом имени он почтительно наклонил голову и кротко сказал:

– Миров, которые спас Христос, столько же, сколько ворот на небесах, – счесть их никому не под силу. В какой астрономической системе находится ваш мир? Это, пожалуй, нам поможет.

– В той, где Солнце, Луна и Марс... – Он только отрицательно мотал головой: никогда, мол, не слышал таких названий. – ...и Нептун, и Уран, и Юпитер...

– Стойте! Минуточку! Юпитер... Юпитер... Кажется, у нас был оттуда человек, лет восемьсот – девятьсот тому назад; но люди из той системы очень редко проходят через наши ворота.

Вдруг он впился в меня глазами так, что я подумал: «Вот сейчас пробуравит насквозь», а затем спрашивает, отчеканивая каждое слово:

– Вы явились сюда прямым путем из вашей системы?

– Да, – ответил я, но все же малость покраснел.

Он очень строго посмотрел на меня.

– Неправда, и здесь не место лгать. Вы отклонились от курса. Как это произошло?

Я опять покраснел и говорю:

– Извините, беру свои слова назад и каюсь. Один раз я вздумал потягаться с кометой, но совсем, совсем чуть-чуть...

– Так, так, – говорит он далеко не сладким голосом.

– И отклонился-то я всего на один румб, – продолжаю я рассказывать, – и вернулся на свой курс в ту же минуту, как окончились гонки.

– Не важно, именно это отклонение и послужило всему причиной. Оно и привело вас к воротам за миллиарды миль от тех, через которые вам надлежало пройти. Если бы вы попали в свои ворота, там про ваш мир все было бы известно и не произошло бы никакой проволочки. Но мы постараемся вас обслужить.

Он повернулся к помощнику и спрашивает:

– В какой системе Юпитер?

– Не помню, сэр, – отвечает тот, – но, кажется, где-то, в каком-то пустынном уголке вселенной имеется такая планета, входящая в одну из малых новых систем. Сейчас посмотрю.

У них там висела карта величиной со штат Род-Айленд, он подкатил к ней воздушный шар и полетел вверх. Скоро он скрылся из виду, а через некоторое время вернулся вниз, закусил на скорую руку и снова улетел. Короче говоря, он это повторял два дня, после чего спустился к нам и сказал, что как будто нашел на карте нужную солнечную систему, впро-

чем, не ручается – возможно, это след от мухи. Взяв микроскоп, он опять поднялся вверх. Опасения его, к счастью, не оправдались: он действительно разыскал солнечную систему. Он заставил меня описать подробно нашу планету и указать ее расстояние от Солнца, а потом говорит своему начальнику:

– Теперь я знаю, сэр, о какой планете этот человек толкует. Она имеется на карте и называется Бородавка.

«Не поздоровилось бы тебе, – подумал я, – если бы ты явился на эту планету и назвал ее Бородавкой!»

Ну, тут они меня впустили и сказали, что отныне и навеки я могу считать себя спасенным и не буду больше знать никаких тревог.

Потом они отвернулись от меня и погрузились в свою работу, дескать, со мной все покончено и мое дело в порядке.

Меня это удивило, но я не осмелился заговорить первым и напомнить о себе. Просто, понимаете, я не мог это сделать: люди заняты по горло, а тут еще заставлять их со мной возиться! Два раза я решал махнуть на все рукой и уйти, но, подумав, как нелепо буду выглядеть в своем обмундировании среди прощенных душ, я пятался назад, на старое место. Разные служащие начали поглядывать на меня, удивляясь, почему я не уйду. Дольше терпеть это было невозможно. И вот я наконец расхрабрился и сделал знак рукой главному клерку. Он говорит:

– Как, вы еще здесь? Чего вам не хватает?

Я приложил ладони трубкой к его уху и зашептал, чтобы никто не слышал:

– Простите, пожалуйста, не сердитесь, что я словно вмешиваюсь в ваши дела, но не забыли ли вы чего-то?

Он помолчал с минуту и говорит:

– Забыл? Нет, по-моему, ничего.

– А вы подумайте, – говорю я.

Он подумал.

– Нет, кажется, ничего. А в чем дело?

– Посмотрите на меня, – говорю я, – хорошенько посмотрите!

Он посмотрел и спрашивает:

– Ну, что?

– Как что? И вы ничего не замечаете? Если бы я в таком виде появился среди избранных, разве я не обратил бы на себя всеобщее внимание? Разве не показался бы каким-то чудачком?

– Я, право, не понимаю, в чем дело, – говорит он. – Чего вам еще надо?

– Как чего? У меня, мой друг, нет ни арфы, ни венца, ни нимба, ни псалтыря, ни пальмовой ветви – словом, ни одного из тех предметов, которые необходимы здесь каждому.

Знаете, Питерс, как он растерялся? Вы такой растерянной физиономии сроду не видывали. После некоторого молчания он говорит:

– Да вы, оказывается, диковинный субъект, с какой сто-

роны ни взять. Первый раз в жизни слышу о таких вещах!

Я глядел на него, не веря своим ушам.

– Простите, – говорю, – не в обиду вам будь сказано, но как человек, видимо проживший в царствии небесном весьма солидный срок, вы здорово плохо знаете его обычаи.

– Его обычаи! – говорит он. – Любезный друг, небеса велики. В больших империях встречается множество различных обычаев. И в мелких тоже, как вы, несомненно, убедились на карликовом примере Бородавки. Неужели вы воображаете, что я в состоянии изучить все обычаи бесчисленных царствий небесных? У меня при одной этой мысли голова кругом идет! Я знаком с обычаями тех мест, где живут народы, которым предстоит пройти через мои ворота, и, поверьте, с меня хватит, если я сумел уместить в своей голове то, что день и ночь штудирую вот уже тридцать семь миллионов лет. Но воображать, что можно изучить обычаи всего бескрайнего небесного пространства, – нет, это надо быть просто сумасшедшим! Я готов поверить, что странное одеяние, о котором вы толкуете, считается модным в той части рая, где вам полагается пребывать, но в наших местах его отсутствие никого не удивит.

«Ну, раз так, то уж ладно!» – подумал я, попрощался с ним и зашагал прочь. Целый день я шел по огромной канцелярии, надеясь, что вот-вот дойду до конца ее и попаду в рай, но я ошибался: это помещение было построено по небесным масштабам – естественно, оно не могло быть маленьким. Под

конец я так устал, что не в силах был двигаться дальше; тогда я присел отдохнуть и начал останавливать каких-то нелепого вида прохожих, пытаюсь что-нибудь у них узнать; но ничего не узнал, потому что они не понимали моего языка, а я не понимал ихнего. Я почувствовал нестерпимое одиночество. Такая меня проняла грусть, такая тоска по дому, что я сто раз пожалел, зачем я умер. Ну и, конечно, повернул назад. На-завтра, около полудня, я добрался до места, откуда пустился в путь, подошел к регистратуре и говорю главному клерку:

– Теперь я начинаю понимать: чтобы быть счастливым, надо жить в своем собственном раю!

– Совершенно верно, – говорит он. – Неужели вы думали, что один и тот же рай может удовлетворить всех людей без различия?

– Признаться, да; но теперь я вижу, что это было глупо. Как мне пройти, чтобы попасть в свой район?

Он подозвал помощника, который давеча изучал карту, и тот указал мне направление. Я поблагодарил его и шагнул было прочь, но он остановил меня:

– Подождите минутку; это за много миллионов миль отсюда. Выйдите наружу и станьте вон на тот красный ковер; закройте глаза, задержите дыхание и пожелайте очутиться там.

– Премного благодарен, – сказал я. – Что ж вы не метнули меня туда сразу, как только я прибыл?

– У нас здесь и так забот хватает; ваше дело было подумать

и попросить об этом. Прощайте. Мы, вероятно, не увидим вас в нашем краю тысячу веков или около того.

– В таком случае оревуар, – сказал я.

Я вскочил на ковер, задержал дыхание, зажмурил глаза и пожелал очутиться в регистратуре моего района. В следующее мгновение я услышал знакомый голос, выкрикнувший деловито:

– Арфу и псалтырь, пару крыльев и нимб тринадцатый номер для капитана Эли Стормфилда из Сан-Франциско! Выпишите ему пропуск, и пусть войдет.

Я открыл глаза. Верно, угадал: это был один индеец племени пай-ют, которого я знал в округе Туларе, очень славный парень. Я вспомнил, что присутствовал на его похоронах; церемония состояла в том, что покойника сожгли, а другие индейцы натирали себе лица его пеплом и выли, как дикие кошки. Он ужасно обрадовался, увидев меня, и, можете не сомневаться, я тоже рад был встретить его и почувствовать, что наконец-то попал в настоящий рай.

Насколько хватал глаз, всюду сновали и суетились целые полчища клерков, обряжая тысячи янки, мексиканцев, англичан, арабов и множество разного другого люда. Когда мне дали мое снаряжение, я надел нимб на голову, взглянул на себя в зеркало и чуть не прыгнул до потолка от счастья.

– Вот это уже похоже на дело, – сказал я. – Теперь все у меня как надо! Покажите, где облако!

Через пятнадцать минут я уже был за милю от этого ме-

ста, на пути к гряде облаков; со мной шла толпа, наверно, в миллион человек. Многие мои спутники пытались лететь, но некоторые упали и расшиблись. Полет вообще ни у кого не получался, поэтому мы решили идти пешком, пока не научимся пользоваться крыльями.

Навстречу нам густо шел народ. У одних в руках были арфы и ничего больше; у других – псалтыри и ничего больше; у третьих – вообще ничего; п вид у них был какой-то жалкий и несчастный. У одного парня остался только нимб, который он нес в руке; вдруг он протягивает его мне и говорит:

– Подержите, пожалуйста, минутку. – И исчезает в толпе.

Я пошел дальше. Какая-то женщина попросила меня подержать ее пальмовую ветвь и тоже скрылась. Потом незнакомая девушка дала мне подержать свою арфу – и, черт возьми, этой тоже не стало; и так далее в том же духе. Скоро я был нагружен как верблюд. Тут подходит ко мне улыбающийся старый джентльмен и просит подержать его вещи. Я вытер пот с лица и говорю довольно язвительно:

– Покорно прошу меня извинить, почтеннейший, но я не вешалка!

Дальше мне стали попадаться на дороге целые кучи этого добра. Я незаметно избавился и от своей лишней ноши. Я посмотрел по сторонам, и, знаете, все эти тысячные толпы, которые шли вместе со мной, оказались навьюченными, как я был раньше. Встречные, понимаете, обращались к ним с просьбой подержать их вещи – одну минутку. Мои спутники

тоже побросали все это на дорогу, и мы пошли дальше.

Когда я взгромоздился на облако вместе с миллионом других людей, я почувствовал себя наверху блаженства и сказал:

– Ну, значит, обещали не зря. Я уж было начал сомневаться, но теперь мне совершенно ясно, что я в раю!

Я помахал на счастье пальмовой веткой, потом натянул струны арфы и присоединился к оркестру. Питерс, вы не можете себе представить, какой мы подняли шум! Звучало это здорово, даже мороз по коже подирал, но из-за того, что одновременно играли слишком много разных мотивов, нарушалась общая гармония; вдобавок там собрались многочисленные индейские племена, их воинственный клич лишал музыку всякой прелести. Через некоторое время я перестал играть, решив сделать передышку. Рядом со мной сидел какой-то старичок, довольно симпатичный; я заметил, что он не принимает участия в общем концерте, и стал уговаривать его играть, но он объяснил мне, что по природе застенчив и не решается начать перед такой большой аудиторией. Слово за слово, старичок признался мне, что он почему-то никогда особенно не любил музыку. По правде сказать, у меня самого появилось такое же чувство, но я ничего не сказал. Мы просидели с ним довольно долго в полном бездействии, но в таком месте никто не обратил на это внимания. Прошло шестнадцать или семнадцать часов; за это время я и играл, и пел немножко (но все один и тот же мотив, так как других

не знал), а потом отложил в сторону арфу и начал обмахиваться пальмовой веткой. И оба мы со старичком часто-часто завздыхали. Наконец он спрашивает:

– Вы разве не знаете какого-нибудь еще мотива, кроме этого, который тренькаете целый день?

– Ни одного, – отвечаю я.

– А вы не могли бы что-нибудь выучить?

– никоим образом, – говорю я. – Я уже пробовал, да ничего не получилось.

– Слишком долго придется повторять одно и то же. Ведь вы знаете, впереди – вечность!

– Не сыпьте соли мне на раны, – говорю я, – у меня и так настроение испортилось.

Мы долго молчали, потом он спрашивает:

– Вы рады, что попали сюда?

– Дедушка, – говорю я, – буду с вами откровенен. Это не совсем похоже на то представление о блаженстве, которое создалось у меня, когда я ходил в церковь.

– Что, если нам смыться отсюда? – предложил он. – Полдня отработали – и хватит!

Я говорю:

– С удовольствием. Еще никогда в жизни мне так не хотелось смениться с вахты, как сейчас.

Ну, мы и пошли. К нашей гряде облаков двигались миллионы счастливых людей, распевая осанну, в то время как миллионы других покидали облако, и вид у них был, уверяю

вас, до-больно кислый. Мы взяли курс на новичков, и скоро я попросил кого-то из них подержать мои вещи – одну минутку – и опять стал свободным человеком и почувствовал себя счастливым до неприличия. Тут как раз я наткнулся на старого Сэма Бартлета, который давно умер, и мы с ним остановились побеседовать. Я спросил его:

– Скажи, пожалуйста, так это вечно и будет? Неужели не предвидится никакого разнообразия?

На это он мне ответил:

– Сейчас я тебе все быстро объясню. Люди принимают буквально и образный язык Библии, и все ее аллегории, – поэтому, являясь сюда, они первым делом требуют себе арфу, нимб и прочее. Если они просят по-хорошему и если их просьбы безобидны и выполнимы, то они не встречают отказа. Им без единого слова выдают все обмундирование. Они сойдутся, попоют, поиграют один денек, а потом ты их в хоре больше не увидишь. Они сами приходят к выводу, что это вовсе не райская жизнь, во всяком случае, не такая, какую нормальный человек может вытерпеть хотя бы неделю, сохранив рассудок. Наша облачная гряда расположена так, что к старожилам шум отсюда не доносится; значит, никому не мешает, что новичков пускают лезть на облако, где они, кстати сказать, сразу же и вылечиваются. Заметь себе следующее, – продолжал он, – рай исполнен блаженства и красоты, но жизнь здесь кипит, как нигде. Через день после прибытия у нас никто уже не бездельничает. Петь псалмы и ма-

хоть пальмовыми ветками целую вечность – очень милое занятие, как его расписывают с церковной кафедры, но на самом деле более глупого способа тратить драгоценное время не придумаешь. Этак легко было бы превратить небесных жителей в сборище чирикающих невежд. В церкви говорят о вечном покое как о чем-то утешительном. Но попробуй испытать этот вечный покой на себе, и сразу почувствуешь, как мучительно будет тянуться время. Поверь, Стормфилд, такой человек, как ты, всю жизнь проведенный в непрестанной деятельности, за полгода сошел бы с ума, попав на небо, где совершенно нечего делать. Нет, рай не место для отдыха; на этот счет можешь не сомневаться!

Я ему говорю:

– Сэм, услышь я это раньше, я бы огорчился, а теперь я рад. Я рад, что попал сюда.

А он спрашивает:

– Капитан, ты небось изрядно устал?

Я говорю:

– Мало сказать, устал, Сэм! Устал как собака!

– Еще бы! Понятно! Ты заслужил крепкий сон, – и сон тебе будет отпущен. Ты заработал хороший аппетит, – и будешь обедать с наслаждением. Здесь, как и на земле, наслаждение надо заслужить честным трудом. Нельзя сперва наслаждаться, а зарабатывать право на это после. Но в раю есть одно отличие: ты сам можешь выбрать себе род занятий; и если будешь работать на совесть, то все силы небесные помо-

гут тебе добиться успеха. Человеку с душой поэта, который в земной жизни был сапожником, не придется здесь тачать сапоги.

– Вот это справедливо и разумно, – сказал я. – Много работы, но лишь такой, какая тебе по душе; и никаких больше мук, никаких страданий...

– Нет, погоди, тут тоже много мук, но они не смертельны. Тут тоже много страданий, но они не вечны. Пойми, счастье не существует само по себе, оно лишь рождается как противоположность чему-то неприятному. Вот и все. Нет ничего такого, что само по себе являлось бы счастьем, – счастьем оно покажется лишь по контрасту с другим. Как только возникает привычка и притупляется сила контраста – тут и счастьем конец, и человеку уже нужно что-то новое. Ну, а на небе много мук и страданий – следовательно, много и контрастов; стало быть, возможности счастья безграничны.

Я говорю:

– Сэм, первый раз слышу про такой сверхразумный рай, но он так же мало похож на представление о рае, которое мне внушали с детских лет, как живая принцесса – на свое восковое изображение.

Первые месяцы я провел, болтаясь по царствию небесному, заводя друзей и осматривая окрестности, и наконец поселился в довольно подходящем уголке, чтоб отдохнуть, перед тем как взяться за какое-нибудь дело. Но и там я продолжал заводить знакомства и собирать информацию. Я подол-

гу беседовал со старым лысым ангелом, которого звали Сэнди Мак-Уильямс. Он был родом откуда-то из Нью-Джерси. Мы проводили вместе много времени. В теплый денек, после обеда, ляжем, бывало, на пригорке под тенью скалы, – курим трубки и разговариваем про всякое. Однажды я спросил его:

– Сэпдн, сколько тебе лет?

– Семьдесят два.

– Так я и думал. Сколько же ты лет в раю?

– На рождество будет двадцать семь.

– А сколько тебе было, когда ты вознесся?

– То есть как? Семьдесят два, конечно.

– Ты шутишь?

– Почему шучу?

– Потому что, если тогда тебе было семьдесят два, то, значит, теперь тебе девяносто девять.

– Ничего подобного! Я остался в том же возрасте, в каком сюда явился.

– Вот как! – говорю я. – Кстати, чтоб не забыть, у меня есть к тебе вопрос. Внизу, на земле, я всегда полагал, что в раю мы все будем молодыми, подвижными, веселыми.

– Что ж, если тебе этого хочется, можешь стать молодым. Нужно только пожелать.

– Почему же у тебя не было такого желания?

– Было. У всех бывает. Ты тоже, надо полагать, когда-нибудь попробуешь; но только тебе это скоро надоест.

– Почему?

– Сейчас я тебе объясню. Вот ты всегда был моряком; а каким-нибудь другим делом ты пробовал заниматься?

– Да. Одно время я держал бакалейную лавку на приисках; но это было не по мне, слишком скучно – ни волнения, ни штормов – словом, никакой жизни. Мне казалось, что я наполовину живой, а наполовину мертвый. А я хотел быть или совсем живым, или совсем уж мертвым. Я быстро избавился от лавки и опять ушел в море.

– То-то и оно. Лавочникам такая жизнь нравится, а тебе она не пришлась по вкусу. Оттого, что ты к ней не привык. Ну, а я не привык быть молодым, и мне молодость была ни к чему. Я превратился в крепкого кудрявого красавца, а крылья – крылья у меня стали как у мотылька! Я ходил с парнями на пикники, на танцы, вечеринки, пробовал ухаживать за девушками и болтать с ними разный вздор; но все это было напрасно – я чувствовал себя не в своей тарелке, скажу больше – мне это просто осточертело. Чего мне хотелось, так это рано ложиться и рано вставать, и иметь какое-нибудь занятие, и чтобы после работы можно было спокойно сидеть, курить и думать, а не колобродить с оравой пустоголовых мальчишек и девчонок. Ты себе не представляешь, до чего я исстрадался, пока был молодым.

– Сколько времени ты был молодым?

– Всего две недели. Этого мне хватило с избытком. Ох, каким одиноким я себя чувствовал! Понимаешь, после того как я семьдесят два года копил опыт и знания, самые серьез-

ные вопросы, занимавшие этих юнцов, казались мне простыми, как азбука. А слушать их споры – право, это было бы смешно, если б не было так печально! Я до того соскучился по привычному солидному поведению и трезвым речам, что начал примазываться к старикам, но они меня не принимали в свою компанию. По-ихнему, я был никчемный молокосос и выскочка. Двух недель с меня вполне хватило. Я с превеликой радостью вновь облысел и стал курить трубку и дремать, как бывало, под тенью дерева или утеса.

– Позволь, – перебил я, – ты хочешь сказать, что тебе будет вечно семьдесят два года?

– Не знаю, и меня это не интересует. Но в одном я уверен: двадцатипятилетним я уж ни за что не сделаюсь. У меня теперь знаний куда больше, чем двадцать семь лет тому назад, и узнавать новое доставляет мне радость, однако же я как будто не старею. То есть я не старею телом, а ум мой становится старше, делается более крепким, зрелым и служит мне лучше, чем прежде.

Я спросил:

– Если человек приходит сюда девяностолетним, неужели он не переводит стрелку назад?

– Как же, обязательно. Сначала он ставит стрелку на четырнадцать лет. Походит немножко в таком виде, почувствует себя дурак дураком и переведет на двадцать, – но и это не лучше; он пробует тридцать, пятьдесят, восемьдесят, наконец девяносто – и убеждается, что лучше и удобнее всего

ему в том возрасте, к которому он наиболее привык. Правда, если разум его начал сдавать, когда ему на земле перевалило за восемьдесят, то он останавливается на этой цифре. Каждый выбирает тот возраст, в котором ум его был всего острее, потому что именно тогда ему было приятнее всего жить и вкусы и привычки его стали устойчивыми.

– Ну, а если человеку двадцать пять лет, он остается навсегда в этом возрасте, не меняясь даже по внешнему виду?

– Если он глупец, то да. Но если он умен, предприимчив и трудолюбив, то приобретенные им знания и опыт меняют его привычки, мысли и вкусы, и его уже тянет в общество людей постарше возрастом; тогда он дает своему телу постареть на столько лет, сколько надо, чтобы чувствовать себя на месте в новой среде. Так он все время совершенствуется и соответственно меняет свой облик, и в конце концов внешне он будет морщинистый и лысый, а внутренне – пронизательный и мудрый.

– А как же новорожденные?

– И они так же. Скажи, не идиотские ли представления были у нас на земле касательно всего этого! Мы говорили, что на небе будем вечно юными. Мы не говорили, сколько нам будет лет, над этим мы, пожалуй, не задумывались, во всяком случае, не у всех были одинаковые мысли. Когда мне было семь лет, я, наверное, думал, что на небе всем будет двенадцать; когда мне исполнилось двенадцать, я, наверное, думал, что на небе всем людям восемнадцать или двадцать;

в сорок я повернул назад: помню, я тогда надеялся, что в раю всем будет лет по тридцать. Ни взрослый, ни ребенок никогда не считают свой собственный возраст самым лучшим – каждому хочется быть или на несколько лет старше, или на несколько лет моложе, и каждый уверяет, что в этом полюбившемся ему возрасте пребывают все райские жители. При этом каждый хочет, чтобы люди в раю всегда оставались в таком возрасте, не двигаясь с места, да еще получали от этого удовольствие! Ты только представь себе – застыть на месте в раю! Вообрази, какой это был бы рай, если бы его населяли одни семилетние щенки, которые только бы и делали, что катали обручи и играли в камешки! Или неуклюжие, робкие, сентиментальные недоделки девятнадцати лет! Или же только тридцатилетние – здоровые, честолюбивые люди, но прикованные, как несчастные рабы на галерах, к этому возрасту со всеми его недостатками! Подумай, каким унылым и однообразным было бы общество, состоящее из людей одних лет, с одинаковой наружностью, одинаковыми привычками, вкусами, чувствами! Подумай, насколько лучше такого рая оказалась бы земля с ее пестрой смесью типов, лиц и возрастов, с живой борьбой бесчисленных интересов, не без приятности сталкивающихся в таком разнообразном обществе!

– Слушай, Сэнди, – говорю я, – ты понимаешь, что делаешь?

– А что я, по-твоему, делаю?

– С одной стороны, описываешь рай как весьма приятное местечко, но с другой стороны, оказываешь ему плохую услугу.

– Это почему?

– А вот почему. Возьми для примера молодую мать, которая потеряла ребенка, и...

– Ш-ш-ш! – Сэнди поднял палец. – Гляди!

К нам приближалась женщина. Она была средних лет, седая. Шла она медленным шагом, понутив голову и вяло, безжизненно свесив крылья; у нее был очень утомленный вид, и она, бедняжка, плакала. Она прошла вся в слезах и не заметила нас. И тогда Сэнди заговорил тихо, ласково, с жалостью в голосе:

– Она ищет своего ребенка! Нет, похоже, что она уже нашла его. Господи, до чего она изменилась! Но я сразу узнал ее, хоть и не видел двадцать семь лет. Тогда она была молодой матерью, лет двадцати двух, а может, двадцати четырех, милая, цветущая, красивая – роза, да и только! И всем сердцем, всей душой она была привязана к своему ребенку, к маленькой двухлетней дочке. Но дочка умерла, и мать помешалась от горя, буквально помешалась! Единственной утехой для нее была мысль, что она встретится со своим ребенком в загробном мире, «чтобы никогда уже не разлучаться». Эти слова – «чтобы никогда уже не разлучаться» – она твердила непрестанно, и от них ей становилось легко на сердце; да, да, она просто веселела. Когда я умирал, двадцать семь лет тому

назад, она просила меня первым делом найти ее девочку и передать, что она надеется скоро прийти к ней, скоро, очень скоро!

– Какая грустная история, Сэнди!

Некоторое время Сэнди сидел молча, уставившись в землю и думал; потом произнес этак скорбно:

– И вот она наконец прибыла!

– Ну и что? Рассказывай дальше.

– Стормфилд, возможно, она не нашла своей дочери, но мне лично кажется, что нашла. Да, скорее всего. Я видел такие случаи и раньше. Понимаешь, в ее памяти сохранилась пухленькая крошка, которую она когда-то баюкала. Но здесь ее дочь не захотела оставаться крошкой, она пожелала вырасти; и желание ее исполнилось. За двадцать семь лет, что прошли с тех пор, она изучила самые серьезные науки, какие только существуют, и теперь все учится и учится и узнает все больше и больше. Ей ничто не дорого, кроме науки. Ей бы только заниматься науками да обсуждать грандиозные проблемы с такими же людьми, как она сама.

– Ну и что?

– Как что? Разве ты не понимаешь, Стормфилд? Ее мать знает толк в клюкве, умеет разводить и собирать эти ягоды, варить варенье и продавать его, а больше – ни черта. Теперь она не пара своей дочке, как не пара черепаха райской птице. Бедная мать: она мечтала возиться с малюткой! Мне кажется, что ее постигло разочарование.

– Так что же будет, Сэнди, так они и останутся навеки несчастными в раю?

– Нет, они сблизятся, понемногу приспособятся друг к другу. Но только не за год и не за два, а постепенно, через много лет.

ГЛАВА IV

Мне пришлось немало помучиться со своими крыльями. На другой день после того, как я подпевал в хоре, я дважды пытался летать, но без успеха. Поднявшись первый раз, я пролетел тридцать ярдов и сшиб какого-то ирландца, да, по правде говоря, и сам свалился. Потом я столкнулся в воздухе с епископом и, конечно, сбил его тоже. Мы обругали друг друга, но мне было весьма не по себе, что я боднул такого важного старика на глазах у миллиона незнакомых людей, которые, глядя на нас, едва удерживались от смеха.

Я понял, что еще не научился править, и потому не знаю, куда меня отнесет во время полета. Остаток дня я ходил пешком, опустив крылья. На следующее утро я чуть свет отправился в одно укромное место – поупражняться. Я вскарабкался на довольно высокий утес, успешно поднялся в воздух и ринулся вниз, ориентируясь на кустик, за триста ярдов или чуть подальше. Но я не сумел рассчитать силу ветра, который дул приблизительно под углом два румба к моему курсу. Я видел, что значительно отклоняюсь от своего ориентира, и стал тише работать правым крылом, а больше жать на левое. Но это не помогло, я почувствовал, что мне грозит опасность опрокинуться, так что пришлось сбавить ходу в обоих крыльях и опуститься. Я залез обратно на утес и еще раз попытал счастья, наметив место на два или на три румба правее

куста, и даже рассчитал дрейф, чтобы лететь более правильно к точке. В общем, у меня это получилось, но только летел я очень медленно. Мне стало ясно, что при встречном ветре крылья плохая подмога. Значит, если я захочу слетать в гости к кому-нибудь, кто живет далеко от моего дома, то придется, может, несколько суток ждать, чтобы ветер переменялся, кроме того, я понял, что в шторм вообще нельзя пользоваться крыльями. А если пуститься по ветру, истреплешь их сразу – ведь их не уменьшишь, – брать рифы на них, например, невозможно, значит, остается только одно: убирать их – то есть складывать по бокам, и все. Ну, конечно, при таком положении в воздухе не удержишься. Наилучший выход – убежать по ветру; но это здорово тяжело. А начнешь мудрить – наверняка пойдешь ко дну!

Недельки через две – помню, дело было во вторник – я послал старому Сэнди Мак-Уильямсу записку с приглашением прийти ко мне на следующий день вкушать манны и куропа-ток. Едва войдя, он хитро подмигнул и спрашивает:

– Ну, капитан, куда ты девал свои крылья?

Я сразу уловил насмешку в его словах, но не подал виду и только ответил:

– Отдал в стирку.

– Да, да, в эту пору они по большей части в стирке, – отозвался он суховатым тоном, – уж это я заметил. Новоиспеченные ангелы – страсть какие чистюли. Когда ты думаешь получить их обратно?

– Послезавтра.

Он подмигнул мне и улыбнулся. А я говорю:

– Сэнди, давай начистоту. Выкладывай. Какие могут быть тайны от друзей! Я обратил внимание, что ни ты, ни многие другие не носят крыльев. Я вел себя как идиот, да?

– Пожалуй. Но это ничего. Вначале мы все такие. Это вполне естественно. Понимаешь, на земле мы склонны делать самые нелепые выводы о жизни в раю. На картинках мы всегда видели ангелов с крыльями, и это совершенно правильно; но когда мы делали вывод, что ангелы пользуются крыльями для передвижения, тут мы здорово ошибались. Крылья – это только парадная форма. Находясь, так сказать, при исполнении служебных обязанностей, ангелы обязательно носят крылья; ты никогда не увидишь, чтобы ангел отправился без крыльев по какому-нибудь поручению, как никогда не увидишь, чтобы офицер председательствовал на военно-полевом суде в домашнем костюме, или полисмен стоял на посту без мундира, или почтальон доставлял письма без фуражки и казенной куртки. Но летать на крыльях – нет! Они надеваются только для виду. Старые, опытные ангелы поступают так же, как кадровые офицеры: носят штатское, когда они не на службе. Что же касается новых ангелов, то те, словно добровольцы в милиции, не расстаются с формой, вечно перепархивают с места на место, всюду лезут со своими крыльями, сшибают пешеходов, витают то здесь, то там, воображая, что все любят ими и что они самые главные

персоны в раю. И когда один из таких типов проплывает в воздухе, приподняв одно крыло и опустив другое, то ясно можно прочесть на его лице: «Вот бы сейчас увидела меня Мэри Энн из Арканзаса. Небось пожалела бы, что дала мне отставку!» Нет, крылья – это только для показа, исключительно для показа, и больше ни для чего.

– Ты, пожалуй, прав, Сэнди, – сказал я.

– Зачем далеко ходить, погляди на себя, – продолжал Сэнди. – Ты не создан для крыльев, да и остальные люди тоже. Помнишь, какую уйму лет ты потратил на то, чтобы добратся сюда? А ведь ты мчался быстрее пушечного ядра! Теперь представь, что это расстояние тебе пришлось бы проделать на крыльях. Знаешь, что было бы? Вечность прошла бы, а ты бы все летел! А ведь миллионам ангелов приходится ежедневно посещать землю, чтобы являться в видениях умирающим детям и добрым людям, – сам знаешь, им так положено по штату. Разумеется, они являются с крыльями, – ведь они выполняют официальную миссию, – да иначе умирающие и не признали бы в них ангелов. Но неужели ты мог поверить, что на этих крыльях ангелы летают? Нет. И вполне понятно почему: крыльев не хватило бы и на половину пути, они истрепались бы до последнего перышка, и остались бы одни остовы, – как рамки для змея, пока их не оклеили бумагой. На небе расстояния еще в миллиарды раз больше; ангелам приходится по целым дням мотаться в разные концы. Разве они управились бы на крыльях? Нет, конечно. Крылья

у них для фасона, а расстояния они преодолевают вмиг – стоит им только пожелать. Ковер-самолет, о котором мы читали в сказках «Тысячи и одной ночи», – вполне разумное изобретение; но басни, будто ангелы способны покрыть невероятные расстояния при помощи своих неуклюжих крыльев, – сущая чепуха!

– Наши молодые ангелы обоего пола, – продолжал Сэнди, – все время носят крылья – ярко-красные, синие, зеленые, золотые, всякие там разноцветные, радужные и даже полосатые с разводами, но никто их не осуждает: это подходит к их возрасту. Крылья очень красивая вещь, и они к лицу молодым. Это самая прелестная часть их костюма; нимб, по сравнению с крыльями, ничего не стоит.

– Ну ладно, – призпался я, – я засунул свои крылья в шкаф и не выну их оттуда, пока на улице не будет грязь по колено.

– Или торжественный прием.

– Это еще что такое?

– Такое, что ты можешь увидеть, если пожелаешь, сегодня же вечером. Прием устраивается в честь одного кабатчика из Джерси-Сити.

– Да что ты, расскажи!

– Этот кабатчик был обращен на молитвенном собрании Муди и Сэнки ⁴ в Нью-Йорке. Когда он возвращался к себе в Нью-Джерси, паром, на котором он ехал, столкнулся с ка-

⁴ *Муди и Сэнки* – модные в конце XIX века американские проповедники-евангелисты.

ким-то судном, и кабатчик утонул. Этот кабатчик из породы тех, кто думает, что в раю все с ума сходят от счастья, когда подобный закоренелый грешник спасет свою душу. Он полагает, что все небожители выбегут ему навстречу с пением осанны и что в этот день в небесных сферах только и разговору будет что о нем. Он воображает, что его появление произведет здесь такой фурор, какого не запомнят старожилы. Я всегда замечал эту странность у мертвых кабатчиков: они не только ожидают, что все поголовно выйдут их встречать, но еще и уверены, что их встретят факельным шествием.

– Стало быть, кабатчика постигнет разочарование?

– Нет, ни в коем случае. Здесь не дозволено никого разочаровывать. Все, чего новичок желает, – разумеется, если это выполнимое и не кощунственное желание, – будет ему предоставлено. Всегда найдется несколько миллионов или миллиардов юнцов, для которых нет лучшего развлечения, чем упражнять свои глотки, толпиться на улицах с зажженными факелами и валять дурака в связи с прибытием какого-нибудь кабатчика. Кабатчик в восторге, молодежь веселится вовсю, – никому это не во вред, и денег не надо тратить, а зато укрепляется добрая слава рая, как места, где всех вновь прибывших ждет счастье и довольство.

– Очень хорошо. Я обязательно приду посмотреть на прибытие кабатчика.

– Имей в виду, что согласно правилам этикета надо быть в полной форме, с крыльями и всем прочим.

– С чем именно?

– С нимбом, с арфой, пальмовой ветвью и так далее.

– Да-а? Наверно, это очень нехорошо с моей стороны, но, признаюсь, я бросил их в тот день, когда участвовал в хоре. У меня абсолютно ничего нет, кроме этой хламиды и крыльев.

– Успокойся. Твои вещи подобрали и спрятали для тебя. Посылай за ними.

– Я пошлю, Сэнди. Но что это ты сейчас сказал про какие-то кощунственные желания, которым не суждено исполниться?

– О, таких желаний, которые не исполняются, очень много. Например, в Бруклине живет один священник, некий Толмедж⁵, – вот его ждет изрядное разочарование. Он любит говорить в своих проповедях, что по прибытии в рай сразу же побежит обнять и облобызать Авраама, Исаака и Иакова и поплакать над ними. Миллионы земных жителей уповают на то же самое. Каждый божий день сюда прибывает не менее шестидесяти тысяч человек, желающих первым делом помчаться к Аврааму, Исааку и Иакову, чтобы прижать их к груди и поплакать над ними. Но ты согласишься, что шестьдесят тысяч человек в день – обременительная порция для таких стариков. Если бы они вздумали согласиться на это, то ничего иного не делали бы из года в год, как только давали

⁵ Толмедж Томас Девитт (1832 – 1902) – священник главной пресвитерианской церкви в Бруклине (Нью-Йорк), на которого Твен еще в 1870 году обрушился с яростными насмешками в печати за его слова, что «запах рабочего человека оскорбителен для ноздрей более утонченных членов его паствы».

себя тискать и обливать слезами по тридцать два часа в сутки. Они бы вконец измотались и все время были бы мокрые, как водяные крысы. Разве для них это был бы рай? Из такого рая побежишь без оглядки, это всякому ясно! Авраам, Исаак и Иаков – добрые, вежливые старые евреи, но целоваться с сентиментальными проповедниками из Бруклина им так же мало приятно, как было бы тебе. Помяни мое слово, нежности мистера Толмеджа будут отклонены с благодарностью. Привилегии избранных имеют границы даже на небесах. Если бы Адам выходил к каждому новоприбывшему, который хочет поглазеть на него и выклянчить автограф, то ему только этим и пришлось бы заниматься и ни для каких других дел не хватило бы времени. Толмедж заявляет, что он намерен почтить визитом не только Авраама, Исаака и Иакова, но и Адама тоже. Придется ему отказаться от этой затеи.

– И ты думаешь, Толмедж в самом деле вознесется сюда?

– Обязательно. Но пусть тебя это не пугает, он будет водиться со своими – их тут много. В этом-то и заключается главная прелесть рая: сюда попадают люди всякого сорта, – здесь священники не командуют. Каждый находит себе компанию по вкусу, а до других ему дела нет, как и им до него. Уж если господь бог создал рай, так он устроил все как следует, на широкую ногу.

Сэнди послал к себе домой за вещами, я тоже послал за своими, и около девяти часов вечера мы начали одеваться. Сэнди говорит:

– Сторми, тебе предстоит интереснейший вечер. По всей вероятности, будут какие-нибудь патриархи.

– Неужели?

– Да, скорее всего. Конечно, они держатся как аристократы, перед простым народом почти не показываются. На сколько я понимаю, они выходят встречать только тех грешников, которые спасли душу в последнюю минуту. Они бы и тут не выходили, но земная традиция требует большой церемонии по такому поводу.

– Неужели, Сэнди, все до одного выходят?

– Кто? Все патриархи? Что ты, нет; самое большое – два или три. Тебе придется прождать пятьдесят тысяч лет, а может быть, и больше, чтобы хоть одним глазком глянуть на всех патриархов и пророков. За то время, что я здесь, Иов показался один раз, и один раз Хам вместе с Иеремией. Но самое замечательное событие за все мое пребывание тут произошло в прошлом году: был устроен прием в честь англичанина Чарльза Писа, того самого, которого прозвали баннеркросским убийцей. На трибуне стояли тогда четыре патриарха и два пророка, – ничего подобного не видели в раю со дня вознесения капитана Кидда ⁶; даже Авель и тот пришел – впервые за тысячу двести лет. Пустили слух, что собирается быть и Адам; на Авеля всегда сбегаются колоссальные толпы, с Адамом в этом отношении даже и ему не сравниться! Слух оказался ложным, но он облетел все небо; и тако-

⁶ *Капитан Кидд* – Уильям Кидд (1650 (?) – 1701), известный пират.

го, как тогда творилось, я, наверно, никогда больше не увижу. Прием устраивался, конечно, в английском округе, который отстоит за восемьсот одиннадцать миллионов миль от границ нашего Нью-Джерси. Я прилетел туда вместе с многими соседями, и нам представилось исключительное зрелище. Из всех округов валом валили эскимосы, татары, негры, китайцы, – словом, люди отовсюду. Такое смешение народов можно наблюдать лишь в Большом хоре в первый день после прибытия, а больше никогда. Миллиардные толпы пели гимны и выкрикивали осанну, шум стоял невероятный; даже когда рты у всех были закрыты, в ушах звенело от одного хлопанья крыльев, потому что ангелов на небе было столько, что казалось, будто идет снег. Адам не пришел, но и без него было очень интересно; на главной трибуне восседали три архангела, тогда как в других случаях редко можно увидеть даже одного.

– Какие они из себя, эти архангелы, Сэнди?

– Ну, какие? Лица сияют, одеты в блестящие мантии, чудесные радужные крылья за спиной, в руке у каждого меч; рост – восемнадцать футов, величавая осанка, – похожи на военных.

– А нимбы у них есть?

– Нет, во всяком случае, не ободком. Архангелы и патриархи высшей категории носят кое-что получше. У них великолепный круглый сплошной нимб из чистого золота, помотришь – просто глаза слепит. Ты, когда жил на земле, не

раз видел на картинках патриарха с такой штуковиной, помнишь? Голова у него точно на медном блюде. Но это не дает правильного представления, – то, что носят патриархи на самом деле, красивее и лучше блестит.

– Сэнди, а ты разговаривал с этими архангелами и патриархами?

– Кто, я? Что ты, что ты, Сторми! Я не достоин разговаривать с такими, как они.

– А Толмедж достоин?

– Конечно, нет. У тебя путаное представление о таких вещах; впрочем, оно свойственно всем земным жителям. На земле говорят, что есть царь небесный, – и это верно; но дальше описывают небо так, будто оно представляет собой республику, где все равны и каждый вправе обнимать любого встречного и якшаться с разной знатью, вплоть до самой высшей. Вот путаница! Вот чепуха! Разве может быть республика при царе? Разве может вообще быть республика, когда государством правит самодержец, правит вечно, без парламента и без государственного совета, которые имели бы право вмешиваться в его действия; когда ни за кого не голосуют и никого не избирают; когда никто не имеет голоса в управлении страной, никого не привлекают участвовать в государственных делах и никому это не разрешается?! Хороша республика, нечего сказать!...

– Да, рай, пожалуй, не таков, каким я его себе представлял. Но все-таки я надеялся – похожу и хотя бы познаком-

люсь с вельможами. Я не собирался есть с ними из одного котелка, а так – поздороваться за руку, провести в их компании часок-другой...

– Мог бы любой простолюдин вести себя так в отношении российских министров? Зайти запросто, например, к князю Горчакову?

– Думаю, что нет, Сэнди.

– Ну, здесь та же Российская империя, даже построже. Здесь нет и намека на республику. Существует табель о рангах. Существуют вице-короли, князья, губернаторы, вице-губернаторы, помощники вице-губернаторов и около ста разрядов дворянства, начиная от великих князей – архангелов, и дальше все ниже и ниже, до того слоя, где нет никаких титулов. Ты знаешь, что такое принц крови на земле?

– Нет.

– Так вот. Принц крови не принадлежит ни к царской фамилии, ни к обыкновенной аристократии – он стоит ниже первой, но выше второй. Примерно такое же положение занимают на небе патриархи и пророки. Здесь имеются такие важные аристократы, что мы с тобой недостойны чистить им сандалии, но и они недостойны чистить сандалии у патриархов и пророков. Это дает тебе некоторое представление об их ранге, так? Соображаешь теперь, какие они важные? Поглядел на одного из них – и будет о чем помнить и рассказывать тысячу лет. Представь себе, капитан, что Авраам переступил бы этот порог, – вокруг его следов сейчас же поста-

вили бы ограду с навесом, и паломники стекались бы сюда со всех концов неба многие века, чтобы только посмотреть на это место. Авраам как раз один из тех, кого мистер Толмедж из Бруклина собирается по прибытии сюда лобызать и обливать слезами. Пусть запасет побольше слез, не то – пари держу – они у него высохнут, прежде чем он добьется встречи с Авраамом.

– Сэнди, – говорю я, – а я ведь думал, что буду здесь на равной ноге со всеми, но уж лучше позабыть об этом. Да это и не играет особой роли, я и так чувствую себя вполне счастливым.

– Да ты счастливее, капитан, чем был бы при иных обстоятельствах! Эти патриархи и пророки на много веков перегнали тебя, они за две минуты разбираются в том, на что тебе нужен целый год. Пробовал ты когда-нибудь вести полезную и приятную беседу с гробовщиком о ветрах, морских течениях и отклонении компаса?

– Понимаю, что ты хочешь сказать, Сэнди: мне было бы неинтересно разговаривать с ним, – он полный профан в этих делах; и мы оба зачахли бы от скуки.

– Вот именно. Патриархам было бы скучно слушать тебя, а понимать их речи ты еще не дорос. Очень скоро ты сказал бы: «До свидания, ваше преосвященство, я зайду к вам в другой раз», но больше не зашел бы. Приглашал ты когда-нибудь к себе на обед в капитанскую каюту кухонного юнгу?

– Опять-таки мне ясно, к чему ты клонишь, Сэнди. Я по

привык к такой важной публике, как патриархи и пророки, и робел бы в их присутствии, не зная, что сказать, и был бы счастлив поскорее обратиться восвояси. Скажи, Сэнди, а кто выше рангом: патриарх или пророк?

– О, пророки поважнее патриархов! Самый молодой пророк гораздо больше значит, чем самый древний патриарх! Так и знай – даже Адам должен шагать позади Шекспира ⁷.

– Шекспир разве был пророк?

– Конечно! И Гомер тоже, и множество других. Но Шекспир и остальные должны уступить дорогу Биллингсу, обыкновенному портному из Теннесси, и афганскому коновалу Сакка. Иеремия, Биллингс и Будда шагают вместе, в одной шеренге, непосредственно за публикой с разных планет, которые не в нашей системе; за ними идут десятка два прибывших с Юпитера и из других миров; далее выступают Даниил, Сакка и Конфуций; за ними – народ из других астрономических систем; потом – Иезекииль, Магомет, Заратустра и один точильщик из Древнего Египта; дальше еще целая вереница разных людей; и только где-то в самом хвосте – Шекспир с Гомером и башмачник по фамилии Марэ из глухой французской деревушки.

– Неужели Магомета и других язычников тоже пустили сюда?

⁷ Наряду с историческими фигурами полководцев (Наполеон, Александр), писателей и поэтов (Гомер, Лонгфелло, Чосер, Ленгленд) Твен вводит в свой рассказ вымышленных героев.

– Да, каждый из них осуществил свою миссию и заслужил награды. Человек, который не получил награды на земле, может быть спокоен – он непременно получит ее здесь.

– Но почему же так обидели Шекспира, заставили его шагать позади каких-то башмачников, коновалов и точильщиков, о которых никто и не слыхал?

– А это и есть небесная справедливость: на земле их не оценили по достоинству, здесь же они занимают заслуженное место. Этот портной Биллингс из штата Теннесси писал такие стихи, какие Гомеру и Шекспиру даже не снились, но никто не хотел их печатать и никто их не читал, кроме невежественных соседей, которые только смеялись над ними. Когда в деревне устраивались танцы или пьянка, бежали за Биллингсом, рядили его в корону из капустных листьев и в насмешку отвешивали ему поклоны. Однажды вечером, когда он лежал больной, обессилен от голода, его вытащили, нацепили на голову корону и понесли верхом на палке по деревне; за ним бежали все жители, колотя в жестяные тазы и горляны что было сил. В ту же ночь Биллингс умер. Он совершенно не рассчитывал попасть в рай и уж давно не ожидал торжественной церемонии; наверно, он очень удивился, что ему устроили такой прием.

– Ты был там, Сэнди?

– Спаси бог, что ты!

– Почему? Ты разве не знал, что готовится торжество?

– Прекрасно знал. О Биллингсе в небесных сферах много

толковали – и не один день, как об этом кабатчике, а целых двадцать лет до его кончины.

– Какого же черта ты не пошел?

– Вон как ты рассуждаешь! Чтобы такие, как я, попали на прием в честь пророка? Чтобы я, неотесанный чурбан, совался туда и подсоблял принимать такое высокое лицо, как Эдвард Биллингс?! Да меня засмеяли бы на миллиард миль в округе. Мне бы этого никогда не простили!

– А кто же там был?

– Те, кого нам с тобой вряд ли когда доведется увидеть, капитан. Ни один простой смертный не удостоивается счастья побывать на встрече пророка. Там собралась вся аристократия, все патриархи и пророки в полном составе, все архангелы, князья, губернаторы и вице-короли, а из мелкой сошки не было никого. Причем имей в виду, вся эта знать – князья и патриархи – собралась не только из нашего мира, но из всех миров, которые сияют на нашем небосводе, и еще из миллиардов миров, находящихся в бесчисленных других системах. Там были такие пророки и патриархи, которым наши в подметки не годятся по рангу, известности и так далее. Среди них были знаменитости с Юпитера и с других планет, входящих в нашу систему, но самые главные – поэты Саа, Бо и Суф – прибыли с трех больших планет из трех различных, весьма отдаленных систем. Их имена прогремели во всех уголках и закоулках неба наравне с именами восьмидесяти высших архангелов, тогда как о Моисее,

Адаме и остальной компании за пределами одного краешка неба, отведенного для нашего мира, никто не слышал, разве что отдельные крупные ученые, – впрочем, они всегда пишут имена наших пророков и патриархов неправильно, все путают, выдают деяния одного за деяния другого и почти всегда относят их просто к нашей солнечной системе, не считая нужным входить в такие подробности, как указание, из какого именно мира они происходят. Это похоже на того ученого индуса, который, желая похвастать своими познаниями, заявил, что Лонгфелло живет в Соединенных Штатах, – словно он живет сразу во всех концах страны, а сами Соединенные Штаты занимают так мало места, что, куда ни швырни камень, обязательно попадешь в Лонгфелло. Между нами говоря, меня всегда злит, как эти пришельцы из миров-гигантов презрительно отзываются не только о нашем маленьком мире, но и обо всей нашей системе. Конечно, мы отдаем должное Юпитеру, потому что наш мир по сравнению с ним не больше картофелины; но ведь имеются в других системах миры, перед которыми сам Юпитер меньше, чем горчичное семечко! Взять хотя бы планету Губра, которую не втиснешь в орбиту кометы Галлея, не разорвав заклепок. Туристы с Губры (я имею в виду туземцев, которые жили и умерли там) заглядывают сюда время от времени и спрашивают о нашем мире, но, когда узнают, что он так мал, что молния может обежать его за одну восьмую секунды, они хватаются за стенку, чтобы не упасть от хохота. Потом они вставляют в

глаз стеклышко и принимаются разглядывать нас, словно мы какие-то диковинные жуки или козявки. Один из этих туристов задал мне вопрос: сколько времени продолжается у нас день? Я ответил, что в среднем двенадцать часов. Тогда он спросил: «Неужели у вас считают, что стоит вставать с постели и умываться для такого короткого дня?» Эти люди с Губры всегда так – они не пропускают случая похвастать, что их день – все равно что наши триста двадцать два года. Этот нахальный юнец еще не достиг совершеннолетия, ему было шесть или семь тысяч дней от роду, – то есть, по-нашему, около двух миллионов лет, – этакий задиристый щенок в переходном возрасте, уже не ребенок, но еще не вполне мужчина. Будь это в любом другом месте, а не в раю, я сказал бы ему пару теплых слов. Ну, короче говоря, Биллингсу закатали такую великолепную встречу, какой не бывало много тысяч веков; и я думаю, это приведет к хорошим результатам. Имя Биллингса проникнет в самые далекие уголки, о нашей астрономической системе заговорят, а может, и о нашем мире тоже, и мы поднимемся в глазах самых широких кругов небожителей. Ты только подумай: Шекспир шел пятью перед этим портным из Теннесси и бросал ему под ноги цветы, а Гомер прислуживал ему, стоя за его стулом во время банкета! Конечно, там это ни на кого не произвело особого впечатления – ведь важные иностранцы из других систем никогда не слышали ни о Шекспире, ни о Гомере; но если бы весть об этом могла дойти до нашей маленькой Земли,

там бы это произвело сенсацию! Эх, кабы несчастный спиритизм чего-нибудь стоил, тогда мы могли бы дать знать об этом случае на Землю, и в Теннесси, где жил Биллингс, поставили бы ему памятник, а его автограф ценился бы дороже автографа Сатаны. Ну вот, покутили на этой встрече здорово, – мне обо всем подробно рассказывал один захудалый дворянин из Хобокена ⁸, баронет, сэр Ричард Даффер.

– Что ты говоришь, Сэнди, баронет из Хобокена? Как это может быть?

– Очень просто. Дик Даффер держал колбасную и за всю жизнь не скопил ни цента, потому что все остатки мяса он потихоньку раздавал бедным. Не нищим бродягам, нет, а честным, порядочным людям, оставшимся без работы, таким, которые скорее умрут с голоду, чем попросят подаяния. Дик высматривал детей и взрослых, у которых был голодный вид, тайком следовал за ними до дому, расспрашивал о них соседей, а после кормил их и подыскивал им работу. Но так как Дик никому ничего не давал на людях, за ним установилась репутация сквалыги; с ней он и умер, и все говорили: «Туда ему и дорога!» Зато не успел он явиться сюда, как ему пожаловали титул баронета, и первые слова, которые Дик, колбасник из Хобокена, услышал, ступив на райский берег, были: «Добро пожаловать, сэр Ричард Даффер!» Это его ужасно удивило: он был убежден, что ему предназначено

⁸ Хобокен – город в штате Нью-Джерси. Никаких титулов в США, как известно, нет.

на том свете другое местечко, с климатом жарче здешнего.

Внезапно вся местность вокруг задрожала от грома, пальнуло разом тысяча сто одно орудие. Сэнди говорит:

– Вот. Это в честь кабатчика.

Я вскочил на ноги.

– Пошли, Сэнди; еще прозеваем что-нибудь интересное!

– Сиди спокойно, – говорит он, – это только телеграфируют о нем.

– Как так?

– Дали залп в знак того, что кабатчика увидели с сигнальной станции. Он миновал Сэнди-Хук⁹. Сейчас ему навстречу вылетят разные комиссии, чтобы эскортировать его сюда. Начнутся всякие церемонии и проволочки; до места еще не скоро доберутся. Он сейчас за несколько миллиардов миль отсюда.

– С таким же успехом и я бы мог быть пройдохой-кабатчиком, – сказал я, вспомнив свое невеселое прибытие на небеса, где меня не встречали никакие комиссии.

– В твоем голосе я слышу сожаление, – сказал Сэнди. – Пожалуй, это естественно. Но что было, то прошло; тебя привела сюда собственная дорога, и теперь уже ничего не исправишь.

– Ладно, Сэнди, забудем, я ни о чем не жалею. Но, значит, в раю тоже есть Сэнди-Хук, а?

⁹ Сэнди-Хук – мыс к югу от Нью-Йорка.

– У нас здесь все устроено, как на земле. Все штаты и территории Соединенных Штатов и все страны и острова, крупные и мелкие, расположены на небе точно так же, как и на земном шаре, и имеют такую же форму; только здесь они в десятки миллиардов раз больше, чем внизу... Второй залп!

– А он что означает?

– Это второй форт отвечает первому. Каждый из них дает залп из тысячи ста одного орудия. Так обычно салютуют пришельцам, спасшим свою душу в последнюю минуту, причем тысяча сто первое орудие – дополнительно для мужчины. Когда встречают женщину, мы узнаем это потому, что тысяча сто первое молчит.

– Сэнди, каким образом мы различаем, что их тысяча сто одно, если они палят все разом? А ведь мы различаем это, безусловно различаем!

– Наш ум здесь во многих смыслах развивается, и вот – наглядный пример этого. Числа, размеры и расстояния на небесах так велики, что мы научились воспринимать их чувствами. Старые приемы счета и измерения здесь не годятся, – с ними у нас получилась бы сплошная путаница и морока.

Мы потолковали еще немножко на эту тему, а потом я сказал:

– Сэнди, я заметил, что мне почти не встречались белые ангелы; на одного белого приходится чуть ли не сто миллионов краснокожих, которые даже не знают по-английски. Чем

это объясняется?

– Да, ты можешь наблюдать это в любом штате или новой территории американского округа рая. Мне как-то пришлось лететь без перерыва целую неделю, я покрыл расстояние в миллионы миль, повидал огромные скопища ангелов, но не заметил среди них ни одного белого, не услышал ни единого понятного мне слова. Ведь на протяжении целого миллиарда лет или больше, до того, как в Америке появился белый человек, ее населяли индейцы, ацтеки и так далее. Первые триста лет после того, как Колумб открыл Америку, все ее белое население, вместе взятое, – я считаю и британские колонии, – можно было свободно разместить в одном лекционном зале. В начале нашего века белых в Америке было всего шесть-семь миллионов, – скажем, семь; в тысяча восемьсот двадцать пятом году – двенадцать или четырнадцать миллионов; в тысяча восемьсот пятидесятом году – примерно двадцать три миллиона, а в тысяча восемьсот семьдесят пятом – сорок миллионов. Смертность же у нас всегда составляла двадцать душ на тысячу в год. Значит, в первом году нашего века умерло сто сорок тысяч человек, в двадцать пятом – двести восемьдесят тысяч; в пятидесятом – полмиллиона и в семьдесят пятом – около миллиона. Я готов округлить цифры: допустим, что в Америке с самого начала до наших дней умерло пятьдесят, пусть шестьдесят, пусть даже сто миллионов белых: на несколько миллионов больше или меньше – роли не играет. Ну вот, теперь тебе ясно, что если

такую горстку людей рассеять на сотнях миллиардов миль небесной американской территории, то это будет все равно что рассыпать десятицентовый пакетик гомеопатических пилюль по пустыне Сахаре и надеяться их потом собрать. С чего бы нам после этого занимать видное место в раю? Мы его и не занимаем. Таковы факты, и надо с ними мириться. Ученые с других планет и из других астрономических систем, объезжая райские кущи, заглядывают и к нам; они здесь погостят немного, а потом возвращаются к себе домой и пишут книги о своем путешествии, и в этих книгах Америке уделено пять строк. Что же они о нас пишут? Что Америка – слабонаселенная дикая страна и в ней живут несколько сот тысяч миллиардов краснокожих ангелов, среди которых встречаются кое-где *больные* ангелы со странным цветом лица. Понимаешь, эти ученые думают, что мы, белые, а также немногочисленные негры – это индейцы, побелевшие или почерневшие от страшной болезни вроде проказы, в наказание – заметь себе – за какой-то чудовищный грех. Это, мой друг, довольно-таки горькая пилюля для всех нас, даже для самых скромных, не говоря уже о тех, которые ждут, что их встретят как богатых родственников и что вдобавок они смогут обнимать самого Авраама. Я не расспрашивал тебя о подробностях, капитан, но думаю, мой опыт подсказывает мне правильно: тебе никто не кричал особенно громко «ура!», когда ты сюда прибыл?

– Не стоит об этом вспоминать, Сэнди, – сказал я, крас-

нея, – ни за какие деньги я не согласился бы, чтоб это видели мои домашние. Пожалуйста, Сэнди, переменим тему разговора.

– Ладно. Ты как решил, поселиться в калифорнийском отделении рая?

– Сам еще не знаю. Я не собирался останавливаться на чем-нибудь определенном до прибытия моей семьи. Мне хотелось не спеша осмотреться, а уж потом решить. Кроме того, у меня очень много знакомых покойников, и я думал разыскать их, чтобы посплетничать маленько о друзьях, о былом, о всякой всячине и узнать, как им покамест нравятся здешняя жизнь. Впрочем, моя жена скорее всего захочет поселиться в калифорнийском отделении: почти все ее усопшие родственники, наверно, там, а она любит быть среди своих.

– Не допускай этого. Ты сам видишь, как плохо обстоит дело с белыми в отделении Нью-Джерси, а в калифорнийском в тысячу раз хуже. Там кишмя кишит злыми, тупоголовыми темнокожими ангелами, а до ближайшего белого соседа от тебя будет чего доброго миллион миль. *Общества, вот чего особенно не хватает человеку в раю*, – общества людей, таких, как он, с таким же цветом кожи, говорящих на том же языке. Одно время я чуть не поселился из-за этого в европейском секторе рая.

– Почему же ты этого не сделал?

– По разным причинам. Во-первых, там хоть и видишь

много белых, но понять почти никого из них нельзя, так что по душевному разговору тоскуешь, все равно как и здесь. Мне приятно поглядеть на русского, на немца, итальянца, даже на француза, если посчастливится застать его, когда он не занят чем-нибудь нескромным, но одним взглядением голод не утолишь, ведь главное-то желание – поговорить с кем-нибудь!

– Но ведь есть Англия, Сэнди, английский округ?

– Да, но там ненамного лучше, чем в нашей части небесных владений. Все идет хорошо, пока ты беседуешь с англичанами, которые родились не более трех столетий тому назад, но стоит тебе встретиться с людьми, жившими до эпохи Елизаветы, как английский язык становится туманным, и чем глубже в века, тем все туманнее. Я пробовал беседовать с неким Ленглендом и с человеком по имени Чосер – это два старинных поэта, – но толку не вышло! Я плохо понимал их, а они плохо понимали меня. Потом я получал от них письма, но на таком ломаном английском языке, что разобрать ничего не мог. А люди, жившие в Англии до этих поэтов, – те совсем иностранцы: кто говорит на датском, кто на немецком, кто на нормандско-французском языке, а кто на смеси всех трех; еще более древние жители Англии говорят по-латыни, по-древне-британски, по-ирландски и по-гэльски; а уж кто жил до них, так это чистейшие дикари, и у них такой варварский язык, что сам дьявол не поймет! Пока отыщешь там кого-нибудь, с кем можно поговорить, надо протискаться че-

рез несметные толпы, которые лопочут сплошную тарабарщину. Видишь ли, за миллиард лет в каждой стране сменилось столько разных народов и разных языков, что эта мешанина не могла не сказаться и в раю.

– Сэнди, а много ты видел великих людей, про которых написано в истории?

– О, сколько хочешь! Я видал и королей, и разных знаменитостей.

– А короли здесь ценятся так же высоко, как и на земле?

– Нет. Никому не разрешается приносить сюда свои титулы. Божественное право монарха – это выдумка, которую неплохо принимают на земле, но для неба она не годится. Короли, как только попадают в эмпиреи, сразу же понижаются до общего уровня. Я был хорошо знаком с Карлом Вторым – он один из любимейших комиков в английском округе, всегда выступает с аншлагом. Есть, конечно, актеры и получше – люди, прожившие на земле в полной безвестности, – но Карл завоевывает себе имя, ему здесь пророчат большое будущее. Ричард Львиное Сердце работает на ринге и пользуется успехом у зрителей. Генрих Восьмой – трагик, и сцены, в которых он убивает людей, в высшей степени правдоподобны. Генрих Шестой торгует в киоске религиозной литературой.

– А Наполеона ты когда-нибудь видел, Сэнди?

– Видел частенько, иногда в корсиканском отделении, иногда во французском. Он, по привычке, ищет себе место

позаметнее и расхаживает, скрестив руки на груди; брови нахмурены, под мышкой подзорная труба, вид величественный, мрачный, необыкновенный – такой, какого требует его репутация. И надо сказать, он крайне недоволен, что здесь он, вопреки его ожиданиям, не считается таким уж великим полководцем.

– Вот как! Кого же считают выше?

– Да очень многих людей, нам даже неизвестных, из породы башмачников, коновалов, точильщиков, – понимаешь, простолюдинов бог весть откуда, которые за всю свою жизнь не держали в руках меча и не сделали ни одного выстрела, но в душе были полководцами, хотя не имели возможности это проявить. А здесь они по праву занимают свое место, и Цезарь, Наполеон и Александр Македонский вынуждены отойти на задний план. Величайшим военным гением в нашем мире был каменщик из-под Бостона по имени Эб-сэлом Джонс, умерший во время войны за независимость. Где бы он ни появился, моментально сбегаются толпы. Понимаешь, каждому известно, что, представься в свое время этому Джонсу подходящий случай, он продемонстрировал бы миру такие полководческие таланты, что все бывшее до него показалось бы детской забавой, ученической работой. Но случая ему не представилось. Сколько раз он ни пытался записаться в армию рядовым, сержант-вербовщик не брал его – у Джонса не хватало больших пальцев на обеих руках и двух передних зубов. Однако, повторяю, теперь всем из-

вестно, чем он *мог бы* стать, – и вот, заслышав, что он куда-то направляется, народ толпой валит, чтобы хоть одним глазком на него взглянуть. Цезарь, Ганнибал, Александр и Наполеон – все служат под его началом, и, кроме них, еще много прославленных полководцев; но народ не обращает на эту публику никакого внимания, когда видит Джонса. Бум! Еще один залп. Значит, кабатчик уже миновал карантин.

Мы с Сэнди надели на себя полное облачение, затем произнесли желание – и через секунду очутились на том месте, где должен был состояться прием. Стоя на берегу воздушного океана, мы вглядывались в туманную даль, но ничего не могли разглядеть. Поблизости от нас находилась главная трибуна – ряды едва различимых во тьме тронов поднимались к самому зениту. В обе стороны от нее бесконечным амфитеатром расходились места для публики. На трибунах было тихо и пусто, никакого веселья, скорее они выглядели мрачно – как театральный зал, когда газовые рожки еще не горят и зрители не начали собираться. Сэнди мне говорит:

– Сядем здесь и подождем. Скоро вон с той стороны покажется голова процессии.

Я говорю:

– Тоскливо здесь что-то, Сэнди; видимо, произошла какая-то задержка. Одни мы с тобой пришли, а больше нет никого, – не очень-то пышная встреча для кабатчика.

– Не волнуйся, все в порядке. Будет еще один залп, тогда

увидишь.

Через некоторое время мы заметили далеко на горизонте пятно света.

– Это голова факельного шествия, – сказал Сэнди.

Пятно разрасталось, светлело, становилось более ярким, скоро оно стало похоже на фонарь паровоза. Разгораясь ярче и ярче, оно в конце концов уподобилось солнцу, встающему над морем, – длинные красные лучи прорезали небо.

– Смотри все время на главную трибуну и на места для публики и жди последнего залпа, – сказал мне Сэнди.

И тут, точно миллион громовых ударов, слившихся в один, раздалось бум-бум-бум – с такой силой, что задрожали небеса. Вслед за тем внезапная вспышка ослепила нас, и в то же мгновение миллионы мест заполнились людьми – насколько хватал глаз, все было набито битком. Яркий свет заливал эту великолепную картину. У меня просто дух захватило.

– Вот как у нас это делается, – сказал Сэнди. – Время зря не тратим, но и никто не является после поднятия занавеса. Пожелать – это куда быстрее, чем передвигаться иными способами. Четверть секунды тому назад эти люди были за миллионы миль отсюда. Когда они слышали последний сигнал, они просто пожелали сюда явиться, и вот они уже здесь.

Грандиозный хор запел:

Мечтаем голос твой услышать,

Тебя лицом к лицу узреть.

Музыка была возвышенная, но в хор затесались неумелые певцы и испортили все, точь-в-точь как бывает в церкви на земле.

Появилась голова триумфальной процессии, и это было изумительно красиво. Нога в ногу шли плотными рядами ангелы, по пятьсот тысяч в шеренге, все пели и несли факелы, и от оглушительного хлопанья их крыльев даже голова заболела. Колонна растянулась на громадное расстояние, хвост ее терялся сверкающей змейкой далеко в небе, заканчиваясь едва различимым завитком. Шли все новые и новые ангелы, и только спустя много времени показался сам кабатчик. Все зрители, как один, поднялись со своих мест, и громовое «ура!» потрясло небо. Кабатчик улыбался во весь рот, нимб его был' лихо заломлен набекрень, – такого самодовольного святого я еще никогда не видал. Когда он начал подниматься по ступеням главной трибуны, хор грянул:

Из края в край несутся клики,
Все ждут услышать голос твой.

На почетном месте – широкой огороженной площадке в центре главной трибуны – установлены были рядом четыре роскошных шатра, окруженных блистательной почетной стражей. Все это время шатры были наглухо закрыты. Но вот кабатчик вскарабкался наверх и, кланяясь во все сторо-

ны и расточая улыбки, добрался наконец до площадки, и тут все шатры сразу распахнулись, и мы увидели четыре величественных золотых трона, усыпанных драгоценными камнями; на двух средних восседало по седобородому старцу, а на двух крайних – статные красавцы исполины, с нимбами в виде блюд и в прекрасной броне. Все, кто там был, миллионы людей, пали на колени, со счастливым видом уставились на троны и начали радостно перешептываться:

– Два архангела! Чудесно! А кто же эти другие?

Архангелы отвесили кабатчику короткий сухой поклон на военный манер; старцы тоже встали, и один из них произнес:

– Моисей и Исав приветствуют тебя!

И тут же вся четверка исчезла и троны опустели.

Кабатчик, видимо, слегка огорчился: он, наверно, рассчитывал обняться с этими старцами; но толпа – такая гордая и счастливая, какой вы сроду не видели, – ликовала, потому что удалось узреть Моисея и Исава. Все только и говорили кругом: «Вы их видели?» – «Я-то да! Исав сидел ко мне в профиль, но Моисея я видел прямо, анфас, вот так, как вас вижу!»

Процессия подхватила кабатчика и увлекла его дальше, а толпа начала покидать трибуны и расходиться. Когда мы шли домой, Сэнди сказал, что встреча прошла прекрасно, и кабатчик имеет право вечно ею гордиться. И еще Сэнди сказал, что нам тоже повезло: можно посещать разные приемы сорок тысяч лет и не увидеть двух таких высокопоставлен-

ных лиц, как Моисей и Исав. Позднее мы узнали, что чуть было не узрели еще и третьего патриарха, а также настоящего пророка, но в последнюю минуту те отклонили приглашение с благодарностью. Сэнди сказал, что там, где стояли Моисей и Исав, будет воздвигнут памятник с указанием даты и обстоятельств их появления, а также с описанием всей церемонии. И в течение тысячелетий это место будут посещать туристы, глазеть на памятник, взбираться на него и царапать на нем свои имена.